



А. В. ЛУНАЧАРСКИЙ

Метаморфоза одного мыслителя

I. КАК ВОСКРЕСЛА МЕТАФИЗИКА

Полная сил буржуазия выступила к концу XVIII столетия под знаменем позитивной науки. Духовным девизом ее было «просвещение». Все устои общественной жизни, все верования подвергались критической переоценке. Все, что хотело жить, должно было отдать отчет перед неумолимым разумом, доказать ему рациональность своего существования. Казалось, что веками сложившийся внешний и внутренний строй человечества готов рухнуть сразу. Взошло солнце разума, и твердые стены, мощные башни оказались туманом и поплыли, колеблясь в лучах утра. Но не только разрушительная работа делалась в то время людьми науки, — вся она была проникнута самым горячим убеждением в возможности найти общеобязательную правду, рациональные формы для всего человеческого. Человека подняли с колен, и многое, казавшееся ему прежде великим, оказалось жалким и смешным, но он не остался стоять среди развалин поверженных идолов, он сразу с какою-то алчностью бросился начертывать планы будущих работ на века и века. Для этого он, прежде всего, желал незыблемых глыб, которые могли бы служить фундаментом. Искал он их в непосредственном чувстве восставшего, горделивого, уверенного в себе, сияющего юностью человека, хотя воображал, что черпает их из разума. Но ум не может дать основу для идеалов, он может лишь организовать материал, доставляемый ему непосредственным чувством: это чувство требовало прежде всего *свободы*, полной свободы для мысли и воли. *Свобода* естественно требовалась

для всех, — ведь ее надо было вырвать у привилегированных, а для этого сплотить все народные силы, оттертые господствующими классами от радостей жизни и всего, с чем связано достоинство человека. — Отсюда же требование *равенства*. В кипучей борьбе глубоко чувствуется радость объединения сил, товарищеской поддержки; отсюда естественно возник и идеал *братства*. Видимый, осязаемый духовный рост человека, как-то скажем быстро менявшихся картин общественной жизни внушал и веру в *прогресс*, и требование его, чувство развития, роста сил и знания стало коренным чувством этого словно новорожденного человека — рационалиста. Научный позитивизм, презрительное отношение к разным потусторонним экскурсиям, вера в жизнь и познание ничуть не противоречат у Дидро и Гельвеция, у Кондорсе и Сен-Симона¹ пламенному идеализму. На место прежних божеств становились столь многообещающие новые: Человечество и его руководитель — Разум.

Буржуазия разогнала туман Средневековья, все химеры скрылись по щелям и скрежетали там зубами, глотая ядовитые слезы.

Но героическая эпоха буржуазии миновала. Она добилась выгодного положения в обществе. Темная масса обездоленных напирала сзади и понуждала ее идти вперед, но она, недавно еще вождь и знаменосец, обратилась вдруг лицом к тем, силою которых сломала противников, и крикнула: «Стой», и крик этот раздался грохотом пушек и лязгом оружия. Недавние союзники распались на несколько лагерей. Буржуазия удержала за собою научный дух, практический гений, отсутствие предрассудков, а на долю остальных оставалось жить идеалом, который когда-то освещал и согревал все, идеализм, превратившийся теперь в бессильные мечты. Иногда при благоприятных обстоятельствах *мечтатели* подымались на *практиков*, но тщетно. На их стороне было все, что способно воодушевить молодые сердца: золотые дали, вера в человечество, но все это лишь прекрасные, святые слова, прекрасная святая музыка чувств, не более; даже в связи с отчаянием и ненавистью к буржуазной силе все это могло вызвать лишь временные конвульсии в общественном теле, которое сложилось так, как того хотел экономически-всемогущий класс.

Но практическая буржуазия продолжала идти под знаменем позитивизма. Она по-прежнему смеялась над предрассудками. Хотя, конечно, наследие прошлого, как ни жалко оно было при свете разума, могло, по их мнению, быть даже полезным для женщин, простолюдинов и т. п. Седые химеры становились ме-

нее ненавистными, чем химеры юные, родившиеся вместе с буржуазией. Эти были полны красоты; немножко стыдно было отрицать всякое знакомство с ними, а между тем они были опасны, гарцевать на революционном гиппогрифе² было невозможно, — конь мог завести всадника не туда, куда ему хотелось...

Буржуазия изо всех сил старалась лишить громкие лозунги отцовских битв за свободу их содержания, но оставить их золотую шумиху, обратить их в звякающие бубенцы и греметь ими, как погремушкой, перед младенцем народом. Но буржуазия была верна науке, критика шла своим путем, найдя новые силы в том самом *историческом смысле*, который ей противопоставляли защитники старины. Исследование природы давало колоссальные результаты, особенно дорогие буржуазии, результаты практические, тайны природы разъяснялись, и ее силы одна за другой склонялись под ярмо человека. В смысле просвещения бледное утро сменялось довольно ярким днем. В то же время буржуазия складывала и принципы своего нравственного мировоззрения, все более и более сухого: стремление к наживе, голый расчет как источник всякой деятельности, как корень всякого чувства — вот *резвый* взгляд на жизнь. Борьба за существование, как она была формулирована Мальтусом, как достаточное объяснение для видимого общественно-го зла, наглое «enrichissez vous»³, как ответ на требование равноправия и т. д., и т. д. О, результаты девятнадцатого столетия, поскольку мастером и заправилой его была буржуазия, были блестящи! Я позволю себе познакомить читателя с теми впечатлениями, какие вынес чуткий и глубокий художник, покойный скульптор Антокольский⁴ из обозрения буржуазного XIX века на импозантной выставке, где буржуазия горделиво распустила свой павлиний хвост. Вот несколько строк из его статьи, помещенной в журнале «Искусство и художественная промышленность» за 1901 год: «Подобной выставки не бывало, и вряд ли будет: она была в своем роде знамением времени конца века и декадентством, т. е. желанием произвести возможно сильнейшее впечатление, мало рассчитывая на человеческие нервы».

«Бывало, войдешь в машинную галерею, и дух захватывает, словно я среди какого-то железного мира: железо живет, стучит, свистит, двигается, — что это за чудовище! Что за гигант! Что за сила! Железо заменяет человека, пар — его дыхание; железо работает за тысячи людей и в тысячу раз скорее, чем они; железные грабли то вытягиваются, то сокращаются, поворачивая предмет своею силою, передавая его как бы из рук в

руки, пока не выбросят его совсем оконченным. Железные машины сеют, жнут, молотят, пекут хлеб и кормят тысячные толпы. Целые ряды катушек двигаются автоматически, как солдаты на смотре, чешут шерсть, прядут нитки, ткнут материи, готовые обувь и одеть легионы войск. Казалось, как ничтожен, слаб, жалок человек в сравнении с этими железными гигантами: попадись он в их грабли, они бы его стоптали, сломали, иссушили в порошок, раздули его как дым, а между тем именно здесь, над этими гигантами, человек властвует, как над дисциплинированными рабочими. По его велению гигантский молот одним ударом превращает железный шар в тонкий лист; по его же велению, тот же молот разбивает скорлупу маленького орешка, так что ядро остается не тронутым.

В гигиеническом отделе такой же восторг. Вы видите мутную воду, полную инфузорий, которых предки ваши глотали. Вы видите старинную больницу (с четырьмя больными в одной кровати), куда больные шли, как в живой гроб. Вы видите старинные хирургические инструменты, от которых люди умирали, как от пытки. А рядом с этим вам показывают, — и какой прогресс был сделан. Та же мутная вода превращается на ваших глазах в чистейшую, как кристалл; госпитальная чистота, удобство вызывают у вас какое-то благоговение, полное благодарности; хирургические инструменты больше не пугают вас. Вы идете в другие отделы, и восторг ваш не ослабевает, — напротив, ваше любопытство, ваша любознательность усиливаются все больше и больше, особенно в отделе образования. Сколько было сделано для пробуждения у людей — знания и сознания, сколько школ теперь на всем земном шаре! Как они умножаются, сколько миллионов детей обучается, и как они обучаются, какие легкие методы преподавания! Вы ни на минуту не сомневаетесь, что все эти дети, наверное, в высшей степени симпатичны. Вы верите в то, что все они выйдут порядочными людьми, здоровыми духом и телом и полезными друг другу. Да может ли и быть иначе при нашем сознании, при нашем совершенстве, а главное при таких огромных средствах, когда бумагою можно устлать все небо, перья превратить в крылья для людей, а буквами заслонить солнце и навести тьму.

Но довольно, — невозможно все описать, особенно бегло. Надо сперва быть специалистом всего, все изучать, разбирать, затем написать томы, томы, и тогда только картина выставки и восторг от нее будут полные.

Переходя от образования к гигиене, от гигиены к «Красному Кресту»⁵, я очутился в военном отделе, и дрожь пробежала у

меня по всему телу, я остолбенел... какой огромный отдел! Стальные стволы пушек и ружей, острые лезвия, малые и большие, смотрели на меня отовсюду с холодным блеском, как вытянутые змеи, готовые обрызгать меня ядом... Что это за чудовища? Кто их создал, — неужели Бог? Для кого? И для чего? Все они шипели одно и то же: «Смерть, смерть!»! Сильнее оборона, сильнее разрушение — и та же смерть. Вот она. Смотрите на человеческую кость с пулями, врезавшимися в нее, выставленную тут же. Смотрите на фотографию, снятую с поля битвы, усеянного убитыми и ранеными, затекшими кровью под жгучим небом. И за что такая вражда среди людей? и кто враждует между собою? — неужто те же питомцы, воспитанные с такою заботливостью и таким упованием? неужто те же братья инженеры, механики, которыми вы восторгались в машинной галерее, создавшие такие изумительные вещи для прогресса, для облегчения жизни людей? неужто они же создали такие адские машины для уничтожения друг друга? В один и тот же день я был в раю и в аду, радовался человеческому возрождению и оплакивал его смерть, я пел ему гимн — аллилуйя и похоронный марш... К чему мне ваши совершенства, ваши прогрессы, — вы достигли того, что врываетесь в недра земли, поднимаетесь выше орла, вы достигли его полета, ваш голос, ваши движения запечатлеваются навеки, ваши слова облетают весь мир быстрее молнии, пар и электричество переносят вас от Запада до Востока, от Севера до Юга, над всем этим вы властелины и в своей власти сильны, а все-таки вы ничтожны, потому что вы не в силах укротить людскую злобу, заставить их друг друга любить и жалеть. На чистом воздухе не лучше: шум и гам, везде играют и пьют, пьют и играют, хлопают браво, а бубен, главное, бубен неистовствует, обыкновенные люди в необыкновенных костюмах стоят на подмостках и хриплым уже голосом кричат, приглашая видеть диковинку — первых красавиц мира, кричат с разных сторон; тут пляшут явайцы, там индейцы, там испанцы, а там турчанки, пляски вакханальные, пляшут до усталости, до изнеможения, обливаются холодной водой и опять пляшут. Где хуже — там больше народа; толпятся матери с детьми, чтобы видеть пляску живота, от которой старые люди краснеют.

Находясь среди кабаков, киосков, панорам, театров и разных Palais⁶, среди шарлатанов в шутовских костюмах, а то и просто в цилиндрах, словно истинные джентльмены, которые расхваливают девицу в трико, стоящую тут же, чувствуешь совсем не то, что в машинной галерее, гигиеническом или в обра-

зовательном отделе; чувствуешь совсем другое, чем даже в военном отделе, где умный человек превращается в хищного зверя. И какая лихорадочная жадность свойственна всем эксплуататорам мира, чтобы приманить по возможности больше баранов и остричь их».

И даже искусство не удовлетворило Антокольского: ему было «больно, стыдно» за художников и даже за самого себя, так бездушно было все, выставленное художниками на продажу на огромном Парижском базаре.

Но молот бьет по наковальне и получает от нее удар, равный своему удару.

Я сказал, что идеализм в форме мечтаний остался за оттертым народом и его вождями. Этот идеализм носил тем не менее строго позитивный характер. Сен-Симон, Оуэн, Фурье⁷ и сотня менее крупных величин шли по стопам великих руководителей Революции. Странно! теперь упрекают позитивистов в том, что они будто всегда лишь констатировали факты, но чужды были критике действительности и творчеству положительных идеалов. Это такой вздор, что невольно спрашиваешь, что служит ему источником: — невежество? партийное ослепление? недомыслие? Нет, позитивисты антибуржуазного направления, можно сказать, яростно критиковали действительность и рисовали такие картины будущего, такие возвышенные и светлые идеалы, перед которыми тускнеют все фантазмагии идеалистов-метафизиков.

Но идеалы остаются идеалами, когда попытки осуществить их наталкиваются на непобедимое сопротивление действительности. Право — бессильное пустое понятие. Только тогда оно оживает, когда есть сила, на которую оно может опереться. Такой силой был, конечно, тот народ, который больше всех и непосредственнее всех страдал от «культуры», созданной буржуазией. Из ряда неудачных попыток выяснилось, однако, что силы его, благодаря тысяче обстоятельств, недостаточны для пересоздания общества. Нужно было прямо и научно поставить вопрос: растут ли эти силы? можно ли надеяться на то, что идеал всечеловеческой кооперации, идеал свободы, равенства и братства во всей полноте этих понятий действительно станет идеалом масс? и будут ли эти массы когда-либо достаточно организованы и могучи, чтобы провести этот идеал в действительность? Это был *объективный* вопрос. В его постановке и решении не должно было быть ни «скрупула этики», как если бы дело шло об астрономии. Вопрос этот был разрешен Лассалем⁸, Марксом и Энгельсом.

Дух «марксизма» был резко *антиутопический* и резко *антиэстетический*. Это дало повод его позднейшим критикам упрекать его в односторонности. Такая критика основана на поверхностном отношении к марксизму, как форме *практического позитивизма*. Марксисты являлись и являются *антиутопистами* в том смысле, что раскрашенные картинки возможного будущего они считают слабым орудием в борьбе за право жить достойной человека жизнью. Можно нафантазировать очень много, но красота фантазий не побуждает и никогда не побудит господствующие классы уступить хоть пядь земли на арене классовой борьбы. Утопии великих мечтателей-позитивистов не отвергались, не признавались бессмысленными сами по себе, они делались достоянием поэзии, а интересы борьбы и критического осуществления естественных целей лишенного прав человека требовали решения иной задачи: что такое общество? каковы внутренние пружины его развития? Блестящий анализ общества как формы сотрудничества, как организации для борьбы за существование и господства над природой — был ответом; эта организация оказывалась крайне несовершенной в смысле какого бы то ни было позитивного критерия: она не давала максимума сил человечеству, не была экономна и расчетлива в их расходовании, в ней господствовало невыгодное для огромного большинства людей распределение благ и т. д., но задачу критики общественного строя выполняли блестяще еще утописты. Теперь была понята коренная причина всех этих несовершенств: фатально возникший в процессе роста цивилизации *классовый характер* общества. Вся история находила блестящий ключ к объяснению в классовой борьбе. Не отрицалось, что желания человеческие и человеческие идеалы производят историю, но *характер* этих желаний и идеалов объяснялся из внешних условий: особенности классового положения и исторической среды диктовали то, во что верил, чего хотел, что ненавидел человек. Совершенно объективно, как жители иной планеты, должны были исследовать ученые взаимоотношения классов, составляющих современное общество, и сделать посильный прогноз будущего. Их личные желания *не смели* иметь голоса в этой чисто научной операции. Мало того, цинизму буржуазии противопоставлялся такой же голый цинизм. Этому не побоялись. Бисмарк⁹ и Лассаль почти одновременно указывали на то, что в современном обществе решающий голос принадлежит сильнейшему. Новые руководители четвертого сословия согласились со всеми теми положениями буржуазии, которые она высказала в пору расцвета своей наглости: да, дело решит

сила! Но та сила, которая низвергнет кумир золотого тельца — растет, растет спокойно, деловито, веря в себя, растет фатально, как невольное и необходимое порождение буржуазии, и не пожрать буржуазному Кроносу порожденного им Зевса, готовящегося сбросить его с Олимпа!¹⁰

Говорить о нравственности было нелепо, надо было говорить о *силах* объективной действительности. Слишком очевидно было, что провозглашением этических истин нельзя было поколебать воззрений господствующих классов, что они всегда могли *заказать* себе нужную идеологию и укрепиться в ней против всякого нематериального оружия. Поэтому позиция Маркса была антиэтическая. «Вы думаете, что мы будем заманивать вас туманными картинками будущего?» — как бы говорил этот могучий человек: «Пугать вас словами? нет! Мы надеемся лишь на силу тех людей, которые по самому положению своему не могут примириться с действительностью и вынуждены стремиться к уничтожению самого корня неустройства — классовых отношений вообще».

Значит ли это, что у марксистов должен был отсутствовать идеал? что они не были практическими идеалистами? что они не были насквозь проникнуты сознанием высоты своих целей и готовностью активно бороться за них? Но ведь и слепой видит, что это вздор! Однако обстоятельства выдвинули ряд личностей, которые решили внести «идеализм» в марксизм, лиц, которые, не будучи в состоянии отрицать присутствие идеализма в марксистской практике, находили его незаконным и метафизическим (?). Они не смогли понять, что наука *не хочет и не может* прислушиваться к голосу чувства, поскольку она наука, но что сама она есть лишь орудие чувства и что основой жизни всегда является известный строй желаний и целей.

Маркс указал на рабочий класс как на такой, которому необходимо должны привиться в самой высокой и чистой форме истинные идеалы демократии. Рассматриваемые научно, *извне*, это только классы, которые *zu schieben glauben und werden geschoben*¹¹, т. е. сила которых направлена самым положением их в обществе и растет благодаря причинам стихийного-общественного характера. Рассматриваемые *изнутри*, это миллионы человеческих умов, жаждущих знания, человеческих сердец, жаждущих счастья, это проснувшиеся люди, стремящиеся развернуть свои крылья, наследники величайших мечтателей человеческого рода, достаточно сильные, чтобы осуществить их радостные и заветные грезы.

Мыслящая личность, пока она познает, объективно взвешивает силы, на которые опираются различные идеалы, она познает наряду с этим и причины, бросающие того или другого отдельного человека в объятия той или другой идеологии.

Но мыслящая личность, особенно такая, как Маркс, не только *познающий* человек, но и человек, *хотящий* и *действующий*: это уж совсем другой вопрос, как обосновывает он свои желания, как приводит он их в систему.

Задача обосновать свои идеалы, доказать их *объективную* правильность, это уж второстепенная задача, по сравнению с задачей выяснения достижимости идеала и практических путей к нему. Человек желает далеко не на основании логических соображений. Но тем не менее совершенно ложно утверждение, будто позитивизм не дал ничего для обоснования идеалов свободы и развития; еще большая ложь утверждений, будто их можно обосновать только метафизически.

Если Маркс не задавался целью найти научный критерий для доказательства безусловного превосходства идеала свободной всечеловеческой кооперации над всяким иным общественным идеалом, то это потому, что он знал, как легко воспримут этот идеал его естественные адепты и как невозможно вбить его в голову его естественным противникам. О кучке же интеллигенции, которая стоит до некоторой степени на распутье, Маркс, естественно, не думал, увлеченный гораздо более важной задачей. Кроме того, он справедливо полагал, что большая часть необходимой в этом отношении работы уже сделана великими утопистами, требования которых практически не отличаются от требований величайших идеалистов, но опираются не на туманные предпосылки метафизики, а на факты *антропологического* характера * — на жажду развития, свободы, мощи и гармонии, заложенную в человеке и просыпающуюся в нем при благоприятных обстоятельствах, на его эмоциональную природу, происхождение которой объясняет нам биология и эволюционная психология, а также на основе таких наук, как гигиена и техника. Мы еще вернемся к этому при кратком выяснении происхождения *эксмарксистского* или *трансмарксистского* идеализма господ Булгаковых и пр. Но теперь нам нужно выяснить причины, благодаря которым воскресла метафизика на Западе.

Этих причин две. Одна тесна связана со всем вышеизложенным, другая стоит несколько особняком.

* См. недавно вновь изданное сочинение Арнольди¹² «Современное учение о нравственности».

Чувствуя свою силу, буржуазия очень дорожила «резвостью», «практичностью» своих взглядов на жизнь, и отождествляла их с «научностью». «Никаких иллюзий!» таков был девиз типично буржуазных идеологов; основные устои общества — промышленность и торговля; до этики обществу нет дела, умные люди руководятся коммерческими, научно-коммерческими соображениями. Этика может жаться по углам в виде благотворительности общественной и частной и внутри семейных отношений. У коммерции есть одна этика, — разумный расчет, запрещающий плутни, торговая честность, отнюдь не воспрещающая самой бесчеловечной эксплуатации.

Но те из буржуазных идеологов, которые были менее самоуверенны или более проникательны, чувствовали, что эта голая экономическая точка зрения не может служить достаточно прочною крепостью для капиталистов. Они уже намечали и разрабатывали «гармоническую» точку зрения, т. е. лицемерную, подслащенную политическую экономию.

Но пока идеологи рабочего класса и мелкой буржуазии, больно ущемленной колесницей Джагернаута¹³ — капитала, громили его этическими lamentациями, истинные, чистокровные и мужественные буржуа только отмахивались: «Иллюзии, бредни! — говорили они, пожимая плечами. — Это в сущности добросердечные люди, все эти мечтатели, но, конечно, нельзя им давать волю... Они совершенно не знакомы с жизнью... Дети!»

Но вот времена изменились. Новые классы стали вырастать в несомненно угрожающую силу, и росту их не предвиделось конца. Крепка и их идеология. Этическая точка зрения была оставлена в стороне, и идеологи новых классов выступили во всеоружии «бесчеловечной» науки. Они проанализировали сущность капитализма, его происхождение, его внутренние противоречия, — дали острый прогноз относительно его грядущей судьбы. В их трудах и призывах не было ни тени прекраснотушения. Они охотно следовали за буржуазией в ее утверждениях, что вопросы жизни решаются реальными интересами, — реальными силами, а не возвышенными принципами. Мало того, они доказывали, что самые возвышенные принципы вырастают из реальных интересов и служат знаменем реальным силам. Идеал всечеловеческой кооперации был представлен как естественное знамя всемирного пролетариата, но расчет велся не на красоту этого знамени, не на таинственные силы этого ковчега племени, жаждущего земли обетованной, а на реальную и растущую силу той армии, ряды которой пополняет сама логика промыш-

ленности и торговли. Капитализм оказался переходной стадией, и для каждой личности, жаждущей нового и лучшего, открылось реальное поле действия: толкать падающего и помогать народиться будущему.

Тогда-то буржуазия и ее идеологи все чаще стали хвататься за оружие этики. «Что за возмутительное учение!» — говорили они: «Какое отсутствие благородства, какая грубость и проза! что за возвеличение силы, грубой силы и узкого классового эгоизма. У этих людей нет уважения к семейному очагу, нет ни искры патриотизма, нет религии». Буржуазия охотно стряхивала с себя свой революционный нигилизм и выказывала внешнее и лицемерное уважение государству, Церкви и семье. На это не могли не откликнуться чисто интеллигентные круги. Кабинетная интеллигенция, лишённая всякой реальной силы, не может не верить в исключительное значение *чистой идеи*: во-первых, ее оружия относятся к числу так называемых духовных, во-вторых, блага, к которым она стремится, сводятся к свободе мысли и усилению роли интеллигенции в обществе; она с трудом представляет себе демократию вполне законченную, она вечно стремится к аристократии ума и таланта, возводя временное и позорное разделение на просвещенные классы и «чернь непросвещенну» в естественный закон; вот почему она не прочь подать руку буржуазии и удовлетвориться полумерами и реформами, конечно, «свято веруя в идеалы», но считая их скорее умственными полярными звездами, нормами мышления и чувствования, чем последним звеном практической программы. Притом интеллигенция так хорошо изучила историю человечества! она так уверена в огромности роли идей: даже самые проникательные и объективные мыслители-интеллигенты лишь с оговорками могут признать ограниченность и вторичность исторической роли школы, кабинета, книги, сцены. Даже самые передовые и прогрессивно настроенные интеллигенты не могут не преувеличивать творческой роли *критически-мыслящей* личности. Поэтому люди кабинета и кафедры охотно поддерживали буржуазию; не только подкупленные писаки, но искреннейшие мыслители настаивали на узости того понимания истории, которая быстро и естественно стала фундаментом идеологии новых классов. Если бы буржуазия только пыталась восстановить покачнувшиеся под ее ударами троны и алтари и бороться с идеологией народных масс при помощи официальной науки — было бы полгоря. Но по мере роста сил промышленной демократии, проникательнейшие из руководителей буржуазной мысли пошли на компромисс с крепнущим противником:

они признали критику капиталистического строя в значительной мере правильной, они признали право трудящихся масс на организованную самозащиту, признали даже рациональность идеала всеобщей кооперации, они чуть не с распростертыми объятиями пошли навстречу новым классам; лишь одного требовали они от них — это еще большей *практичности!* «Поймите», — говорили и говорят они: «Нам не к чему ссориться! мы сами презираем отсталых заводчиков и торгашей, но в интересах самого капитала идти вам навстречу, капиталистический строй вынужден сам себя исправлять понемногу, в нем много дыр, но он все будет накладывать заплату из красного сукна нового строя, и стоит вам помочь нам зашивать дыры старого плаща, чтобы в один прекрасный день увидеть его совершенно красным».

Ей-богу, это удивительно подкупающая идиллия! «полегоньку да помаленьку, мирком да ладком», как говаривал Иудушка Головлев¹⁴, заплату за заплатой, смотришь, ан Zukunftstaat вот он и есть! И тысяча научных доводов убеждает в правильности такого взгляда: природа не делает скачков; социальный Zusammenbruch¹⁵ невозможен, возможны лишь поверхностные политические революции, экономически общество может лишь эволюционировать! и т. д.

Тотчас же на призыв прогрессивных Улиссов¹⁶ буржуазии откликнулись т<ак> н<азываемые> «академики», т. е. интеллигентные перебежчики в лагерь крайней демократии. Голоса левого клироса капитала трогательно слились с песнопениями правого клироса труда, начинает зреть интересный ублюдок, — демократическая концентрация: капиталист и рабочий рука об руку пойдут навстречу восходящему солнцу, капиталист самоотверженно решится таять и умяляться в его лучах, рабочий же будет крепнуть и расти, пока они не станут точно двойни и не обнимутся как братья.

А пока рабочему необходимо признать общность интересов труда и капитала, уметь довольствоваться малым, идти в ногу с природой, т. е. отнюдь *не делать скачков*, давать деньги и людей на армию и флот, защищающие «общие интересы» и завоевывающие колонии и рынки для сбыта «общих продуктов», не верить тем односторонникам-политикам, которые кричат о классовой розни, но сосредоточить свои силы в сфере взаимопомощи, фабричного законодательства и все такое. Словом, не надо гоняться за журавлями в небе, а взять в руки скромную синицу, журавль сам собою достанется праправнукам... Здесь не место входить в критику неогармонической теории обще-

ственного развития. Важно для нас лишь то, что она широко распахнула дверь метафизической этике.

Прежде идеал был естественным предметом горячего желания человека униженного и оскорбленного, плодом его горести и раздумья, дитятей нужды и жажды жизни и развития, свойственной всякому живому существу, особенно же пролетарию, окруженному роскошью больших городов, сознающему мощь того промышленного Левиафана¹⁷, клеткой которого он является, — теперь это — предвечная идея, общеобязательная и общечеловеческая, это цель самой истории и даже всего мироздания. Какой выигрыш, не правда ли?! Это уже не классовый идеал, а *объективный*, сверхчеловеческий и вместе *общечеловеческий*. Вот что важно. Все люди, а не пролетарии только, кто сознательно, кто бессознательно идут к этому идеалу и работают для него при соучастии высшей силы, невидимо указующей своим перстом пути к Ханаану¹⁸. В груди каждого человека звучит голос долга, неустанно повторяющий: «Человеческая личность священна», и кроме эмпирических личностей (т. е. свинных рыл, окружающих нашего героя тесной и жадной толпой), есть еще метаэмпирическая, богочеловеческая, которую нужно чтить в каждом человеке. О! что за умилительная и священная вещь эта жизнь! с чувством благоговения надо идти по жизненной дороге, памятуя, что некто живет над звездами.

К чему же нужно все это? Что все это? Разве идеал трудового человека, когда он добивался свободы развития, не определялся самым его положением? разве трудовой человек не брался с воодушевлением за его исполнение? разве слова, написанные на стенах залы, где заседал последний партейтаг¹⁹: «Man muss begeistert sein um grosses zu vollenden»²⁰ — не находили всегда отклика в сердцах борцов за будущее? Разве осмелится сказать кто-нибудь, что пресловутый долг сам по себе подвигнет хоть горсть *эмпирических* личностей капиталистов сделать маломальски серьезные уступки в области конкретных интересов? Дело в том, что этот *идеализм*, который начинает приобретать почву на Западе, есть естественное дополнение к новому, убудочному типу движения. Воодушевление, царившее прежде, было «незаконно», воодушевление «законно» только тогда, когда возбуждается вечностями и бесконечностями, но тогда идеалист дурачил себя, видите ли, перспективой скорого торжества своих принципов, а теперь буржуазная левая и демократическая правая научили его премудрости серенького оппортунизма, каким давно жили интеллигентные предвкушатели гармонии будущего, теперь сделалось необходимо поделиться с закопте-

лым братом-блужником всей тою премудростью, которая помогла интеллигенту-идеалисту мирно существовать в отвратительном обществе. Время острой борьбы, той борьбы, которая родит на груди энтузиазм, миновало, и чтобы не одуреть со скуки за штопаньем капиталистического строя микроскопическими заплатами, надо рассказывать себе сказки о широкой реке времени, ползущей черепашьям шагом к морю человеческого апофеоза.

Таков один ряд явлений, повлекших за собою разнородные симпатии к разнородным «метафизикам».

Та же мельница завертелась еще быстрее, когда нахлынула вода еще с другой стороны.

Практическое и трезвое направление мысли, восторжествовавшее вместе с буржуазией, требовало реализма от науки, поэтому естествознание, разумеется, развилось особенно роскошно: оно давало и непосредственные практические результаты, и было наиболее далеко от «иллюзий». Но естествознание развивалось в течение XIX века несколько односторонне: в отдельных науках были, правда, произведены изумительнейшие синтезы вроде теории происхождения видов, или теория единства и сохранения энергии; но совершенно дискредитированная натурфилософия была до того в загоне, что большинство ученых с ужасом относились к экскурсиям в чуждые области науки для объединения всего научного здания и тем более ревностно отдавались накоплению отдельных фактов. Эмпирическое направление чересчур засушило синтетическую мысль. К концу века, однако, окончательно выяснилась для науки и необходимость, и возможность научной философии, в смысле венчающего отдельные дисциплины общего купола. Г. Спенсер давно уже формулировал задачи синтетической философии, он утверждал, что отдельные науки, исходя из частных фактов, дают, каждая в своей области, возможно более общие формулы законов отдельных областей действительности, но эти самые возвышенные обобщения, какие только доступны специалистам, сами должны служить как бы колоннами для синтезирующего свода, построить который — обязанность научного философа, обладающего эрудицией во всех областях и эрудицией специально-философской. Грандиозное здание, построенное самим Спенсером, имело в своем фундаменте агностицизм как принцип теории познания, вечность материи и силы как онтологический принцип и закон эволюции в форме интеграции и дифференциации материи при рассеянии энергии и инволюции, т. е. обратного процесса, как принцип космологический, проведенный недавно

умершим великаном-философом через все области науки. Немецкая философия в лице Авенариуса²¹, а затем Вундта пришла к формулировке задач синтетической научной философии, очень похожей на спенсеровскую.

Немцы, однако, никоим образом не могли удовлетвориться совершенно созревшей к тому времени системой великого английского мыслителя. Наука о познании, как необходимое введение в систему науки и в каждую науку в частности, должна была быть разработана с особенной тщательностью. Но самый вопрос о познании мог быть решен лишь на основании каких-нибудь данных, и, как ни старались противиться этому, не мог не стать частью психологии; однако сама психология является в настоящее время наукой еще далеко не законченной, и именно потому, что изучаемые ею явления, так сказать, двусторонни, т. е. как объективные явления они подлежат ведению физиологии, как субъективные же совершенно выпадают из цепи физико-химических явлений, изучаемых всеми другими науками. Но так как познание само есть акт психический и вместе истинная основа наук физико-химических, то гносеология являлась как бы центром пересечения нескольких рядов проблем.

Спенсеровская теория познания с этой точки зрения являлась, можно сказать, несуществующей. Общенаучная философия могла явиться только после победы над самой страшной трудностью, стоящей на пути монизма: дуализма внешнего и внутреннего мира. Для синтетической, строго научной натурфилософии, в смысле космологии, имеется масса данных, и, например, книга Оствальда²² «Натурфилософия» ясно показывает, что ученый мир нуждается здесь лишь в появлении синтезирующего ума, с трудностями же чисто философского, сверхнаучного характера мы здесь не встречаемся; но в области физиологии ощущений, психологии и гносеологии стал явным тот факт, что точки зрения физиков-материалистов и психологов спиритуалистов одинаково узки и недостаточны; физик вдруг теряет почву под ногами, вступая в область так называемых внутренних явлений и, беспомощно проваливаясь, кричит: «Ignorabimus»²³, спиритуалист же тщетно старается как-нибудь приткнуть свои методы к совершенно самостоятельной области внешних фактов, столь успешно изучаемой при помощи материалистических предпосылок. Словом, едва созрела мысль о необходимости синтеза, как в ученом мире произошло некоторое замешательство; допущенная молчаливо и без критики, в качестве временной основы для науки, материалистическая метафизика, сразу оказалась негодной, и тут-то стали выступать с

новой важностью загнанные и забытые философы — pur sang²⁴. Кафедры философии продолжали существовать в Германии, но никто не признавал за философией крупного значения, великие философы исчезли, появились более или менее талантливые историки философии и только. Но когда в рядах ученых началось замешательство, и специалисты физиологии и физики заговорили об отвлеченных вопросах, философы разом ожили и предложили множество всевозможных выходов из затруднения. Кантовский априоризм играл при этом первую роль, далее шли разного рода спиритуалистические метафизики, обещающие добросовестнейшим образом включить в свои эластичные объятия все конкретное содержание наук, наконец, явились защитники дуализма, плюрализма, и даже какого-то моноплюрализма (?). Философы торопливо и деятельно захлопотали над тем разрывом, который зиял на теле науки, над дуализмом психического и физического, то зашивая разрыв белыми нитками, то залечивая его края, чтобы они зажили и зарубцевались, не соединяясь. Наконец выступили и хитроумные скептики: они нагоняли побольше тьмы в вопросы гносеологии, еще больше колебали мнимо поколебавшуюся достоверность познания, а среди ночи, где все кошки серы, старались навязать науке отжившие идеи. Конечно, среди философов находились прогрессивно мыслявшие люди, которые сразу верно наметили настоящий путь к решению вопроса, таким был, например, Рих. Авенариус, пошедший навстречу наиболее философским умам среди физиков и физиологов, самостоятельно нашедших тот же путь (например, Мах, Оствальд). Но зато и среди ученых нашлись люди, с удовольствием разнуздавшие в себе «привидения», ибсеновских «Ojengangers»²⁵, т. е. идеи и чувства своих праотцев; они были притиснуты ко дну души, закованные разумом, а теперь расправляли свои онемевшие члены и все громче пели замогильные песни; они одевались и прихорашивались, эти кладбищенские гости, прятали свои костяки за цветами деланного экстаза романтики, за тканями хитросплетенных софизмов, и снова грозили науке платонизмом, т. е. введением в дело чистого познания постулатов разума практического, смешением категорий истинного и желательного, или, как неоиdealисты любят выражаться, *должного*. Но то, что является угрозой для науки, служит приманкой для profanum vulgus²⁶, — на чувства бьют г-да идеалисты, подкупают тем, что позволяют все желательное счесть за сущее, наиболее сущее, лстя бедному сердцу человека...

Мы описали выше, почему в буржуазных сердцах появилась тенденция реабилитировать религию и метафизическую этику, почему к идеализму склонялась кабинетная интеллигенция, почему он стал нравиться академикам крайней левой... Прибавьте к этому отживающих эпигонов буржуазии, готовых хвататься за все, что угодно, даже за философский пессимизм и Нирвану²⁷, чтобы избежать непроходимой беспросветной скуцищи пресыщенного животного, и станет понятно, что это стечение обстоятельств воздвигло огромную мумию усопшей метафизики и вызвало в ней какие-то судороги, гальванизировав ее полуразложившиеся мускулы. Зрелище, противное для многих, вызывающее энтузиазм в сердце других. Но интереснее всего, что жрецы гальванизированной мумии, по крайней мере, некоторые, осмелились не только подкапываться под устои позитивного знания, но даже объявлять его рухнувшим. Если не ошибаюсь, такие смельчаки явились только в России. По крайней мере, в последних трудах германских и английских идеалистов хотя и ведется борьба с позитивизмом, но его существование и прочность признается; там идеалисты отстаивают лишь свое право существовать *рядом* и зазывать в свою лавочку, у нас же они сразу выступили со смелым, но не слишком добросовестным отождествлением контизма и позитивизма вообще, и с переходящим границы простой смелости утверждением, что позитивизм умер, несмотря на рост эмпириокритицизма в Германии, на школу Гюйо, Фулье во Франции, на успехи Ницше, который никогда не потакал метафизике, несмотря на то, что и у нас в России, из 5—6 наиболее распространенных журналов, только один «Мир Божий» обнаруживает симпатию к метафизикам, да и то лишь к умеренным.

Но если отечественные идеалисты перещеголяли западных единомышленников «смелостью», то в смысле искусства жонглировать понятиями они далеко отстали. Там в лице Вундта имеется метафизик довольно крупного калибра, там имеются такие бессознательно и потому с ловкостью лунатиков гимнастирующие идеями мыслители, как Виндельбанд, а в последнее время, по-видимому, отчасти и Риль²⁸, там есть такой изумительно шустрый маэстро престижжитации²⁹, как американец Джемс³⁰.

У нас же мы видим лишь пережевывание западного идеализма, нас угощают жвачкой, вся пикантность которой заключается лишь в некоторой дозе чисто российской развязности, да в заметном у некоторых стремлении к *style russe*³¹ в расположении гарнира.

По правде сказать, разбираться в этих произведениях довольно скучно. Но раз они существуют и, по-видимому, имеют успех, приходится волей-неволей возражать. Ведь г-да идеалисты «искажают» нашу точку зрения, и в их исполнении позитивисты выходят такими безнадежными тупицами, что, судя по такому портретцу, иной юноша не захочет и знакомиться с оригиналом.

А как хотелось бы наконец покончить с критикой идеалистической «жвачки» и заняться теми задачами, которые поставлены на очередь позитивной философии, хотя бы, например, пересмотром позитивной эстетики, как науки об оценке вообще, пересмотром практической философии, применяющей к практической жизни данные позитивного миропонимания и позитивной мирооценки.

Интеллигентного, чуткого к красоте, активного позитивиста ждут огромные задачи теоретического, популяризаторского и социально-педагогического характера, веселые, чудные задачи, перспективы учиться и учить в тесном союзе с естественным паладином³² растущего и зреющего будущего.

Мы надеемся наряду с другими отдаться этим задачам, между прочим, на страницах «Правды».

Но пока мы еще раз вынуждены разъяснить нашу позицию на почве критики положений г. Булгакова, изложенных им в книге «От марксизма к идеализму».

И прежде всего, в дополнение к предыдущему, поговорим о происхождении русской «трансмарксистской» метафизики. Руководящую нитью послужит нам предисловие к названной книге, в котором автор сам излагает историю своей метаморфозы.

Г-н Булгаков следующим образом описывает возникновение марксизма в России.

«После томительного удушья 80-х годов марксизм явился источником бодрости и деятельного оптимизма, боевым кличем молодой России, как бы общественным ее бродилом. Он усвоил и с настойчивой энергией пропагандировал определенный, освященный вековым опытом Запада практический способ действий, а, вместе с тем, он оживил упавшую было в русском обществе веру в близость национального возрождения, указывая в экономической европеизации России верный путь к этому возрождению...».

Впрочем, сейчас же сказывается и «интеллигентская» точка зрения автора. Он не может не указать на «односторонность» марксизма, на то, что «задача теперешнего момента... не в размежевании общественных групп... а в соединении».

Для г. Булгакова марксизм отнюдь не является доктриной, обосновывающей программу определенного класса, который за «задачами настоящего момента» вовсе не считает возможным терять сознание своих *классовых* интересов и обособленности своих конечных задач.

«Наряду с этим действенным оптимизмом, русский марксизм был совершенно чужд слащавых иллюзий», — продолжает г. Булгаков, — «напротив, он со всей энергией выставил принцип социально-политического реализма, трезвого и научного понимания русской действительности».

Г-н Булгаков правильно отмечает важное дело сокрушения «экономического славянофильства», совершенного марксизмом, и переходит к оценке борьбы между марксистами и субъективистами.

Этот пункт необходимо осветить и нам. Если отвлечь от того частного применения, которое делали из своих принципов субъективисты относительно русской действительности, то пропасть между объективистами и «русской социологической школой» окажется вовсе не настолько непроходимой.

Прежде всего, субъективисты были несомненными детерминистами и признавали своеобразную закономерность в развитии обществ. Их субъективизм сводился к констатированию громадной роли, какую играет в развитии человечества *критическая мысль*. Критически развитая личность противопоставлялась действительности, хотя никто не отрицал, что она плоть от плоти и кость от кости своей среды; она противопоставлялась ей именно в силу того, что благодаря ряду обстоятельств освободилась от гнета традиций, получила возможность взглянуть на общество извне и оценить его с разумной точки зрения.

Каковы же были принципы, опираясь на которые, эти, как бы вырвавшиеся из тисков исторического процесса, личности и группы могли *критиковать* социальную действительность и строить социальный идеал? Нужны ли им были для этого метафизические и тому подобные «предпосылки»? — Так же мало, как ученому гигиенисту, когда он критикует санитарные условия, в которых прозябает большая часть человечества, и рисует идеал вполне здоровой жизненной обстановки. Критически мыслящая личность исходила из *потребностей* человека, из «постулата» здорового развития тела и духа; видя, что общественный строй калечит людей, порождает болезни тела и души, гнетет невежеством, нищетою, голодом, рабством, унижениями, они протестуют против него и стараются выработать такой план общественного уклада, который за всякой личностью

обеспечивал бы возможность развития. Чувствуя себя физически слабыми, критически мыслящие личности естественно обращаются к народным массам, как наиболее заинтересованным в обновлении общества и в то же время как к реальной и могучей силе.

Если искать непосредственного ответа на вопрос «что делать?» (вопрос, в котором таится уже и сознание глубокого несовершенства жизни и жажда жизни, полной смысла и радости), то ответ придется формулировать, по крайней мере, для решительных людей, так, как его формулировали субъективисты: 1) познай язвы современного общества; 2) выработай или восприми план его реорганизации; 3) ищи могучих союзников в этом деле и 4) действуй.

Но субъективистов практиков постигло страшное разочарование именно потому, что они упустили почти совершенно другую, чисто объективную сторону вопроса.

Народные массы в их представлении были каким-то тестом: во всякое время можно положить туда дрожжей, т. е. этих самых «критически мыслящих личностей», и брожение начнется. И это казалось понятным само собой: ведь народ несчастен, а «мыслящие» ему обещают свободу, счастье! Однако же несчастный и угнетенный народ не откликнулся на их призыв, а силы их самих оказались совершенно недостаточными для выполнения принятой ими на себя задачи. Практика народничества рухнула, и теория его стала пережитком.

В течение некоторого времени «объективист» должен был быть несчастнейшим человеком или насмешливым Мефистофелем.

Действительность, к голосам которой он прислушивался, глухо отвечала «нет» на все его «субъективные» запросы.

Казалось, что исторический процесс ни в Европе, ни в России не имеет ничего общего с «прогрессом». Время было страшное. Но постепенно стало выясняться, что история идет к той же цели (гармонизации сил человечества и победе разума над стихиями), но лишь окольным, совершенно необходимым, однако, путем.

Делом Маркса, а у нас — «учеников» его, было выяснение этого обстоятельства; они дали анализ внутренних сил капитализма, двигающих его к апогею и к переходу на высшую стадию развития общественного производства. Субъективисты могли бороться с объективистами лишь двумя путями: либо доказывать, что возможен прямой «скачок» из докапиталистического в послекапиталистический строй, либо указывать на то,

что действительность вещь изменчивая, которая не желает повиноваться сердцу человека: сегодня она как будто что-то обещает, а завтра повернется к вам презрительно спиной.

Субъективисты старого толка пошли по первому пути. И потерпели поражение.

Трансмарксистские идеалисты вступили на второй. Они тоже постулируют «власть» субъекта над действительностью (ведь ее не может не жаждать интеллигентная единица), но чувствуя, что доказать ее на почве позитивизма невозможно, они перенесли эту власть на абсолют, разумного царя субъективистского начала в природе.

Но те, кто не оторваны от действительности, не поставлены судьбою *вне* ее, а составляют ее важную составную часть, отнюдь не нуждаются ни в старом наивном субъективизме народников, ни в новом, т. е. скорее отремонтированном субъективизме магов.

Но что же собственно случилось? каковы были конкретные причины того, что марксизм, а вместе с ним и позитивизм оказались вдруг недостаточными в глазах, например, г. Булгакова?

Вот какова «совокупность мотивов, которая властно заставила г. Булгакова подвергнуть критическому пересмотру коренные устои» и пр.

Г-н Булгаков, а с ним и другие «марксистствующие» интеллигенты старались *защитить* доктрину Маркса, но... случился прекомический казус.

«Совершенно помимо моей воли и даже вопреки ей, вышло так, что, стараясь оправдать и утвердить свою веру, я непрерывно ее подрывал и, после каждой подобной попытки, чувствовал себя не укрепившимся в своем марксизме, а только еще более пошатнувшимся».

Этого можно было ожидать а priori. За защиту доктрины определенного класса брались случайные перебежчики, которые на мгновение увлеклись общим подъемом.

«В результате полемики с Штаммлером (и с Струве о Штаммлере) пришлось признать стоящим вне всякого спора, что самый идеал марксизма дается не наукой, а «жизнью», является, стало быть, *вне*-научным или *не*-научным. Этот вывод для «научного» социализма, гордящегося именно научностью своего идеала, представляется, в сущности, довольно убийственным, хотя все его значение выяснилось для меня только позднее».

Читателю понятно теперь, почему бедному г. Булгакову Штаммлер показался убийственным. Он не понял, что явления

вообще не даются наукой, а *разрабатываются* ею, что следовательно и идеал есть нечто данное, наука же может лишь выяснить его происхождение, его жизненность и его прогрессивность с точки зрения роста власти человека над природой и maximum'a жизни.

Далее «убийствен» для хилого марксизма г. Булгакова и ему подобных Риккерт, «доказавший» невозможность научного прогноза в социологии. Бедный г. Булгаков не понимает, что марксизм вовсе не выдает своего прогноза за нечто абсолютное, что делать такие прогнозы есть биологическая и социальная необходимость в борьбе, что это и значит «полагаться на внимательное и непредубежденное изучение действительности».

Пророчествами наука не занимается, а по мере сил предугадывает будущее, и прогноз Маркса, на наш взгляд, остается в общем и целом непоколебимым. Красноречием тирад о заходящем солнце, бросающем косвенные лучи на непроницаемую преграду будущего, г. Булгакову не удастся замаскировать своего обскурантизма. Люди будут продолжать делать прогнозы, пользуясь все более научными методами, *на то в нас вложен огонь Прометей-провидца*³³. Вне прогноза всякая наука теряет свой смысл, ибо она должна освещать путь человечеству, насколько хорошо — это вопрос, на который отвечают в каждом данном случае лишь факты. Внимательности же и беспристрастности марксисты отнюдь не станут учиться у автора «капитализма и земледелия».

Игнорирую экономические «колебания» г. Булгакова. Оставляем экономиста г. Булгакова в жертву экономистов марксистского направления. Укажу только на то, что и вопрос о ценности, и аграрный вопрос деятельно разрабатываются ими. (См.: Маслов. «Условия развития сельского хозяйства в России» и его же статья «Об аграрном вопросе» в сборнике «Очерки реалистического миросозерцания». См. также статью А. Богданова «Обмен и техника», там же.)

Самым важным мотивом был «кризис» марксизма на Западе.

Бернштейн «напал на те утопические элементы марксизма, которые составляли его поэзию, сообщали ему черты религиозного верования». Он разрушил *Zusammenbruchstheorie*³⁴. «От нее отказались даже прежние ее сторонники», — развязно повествует г. Булгаков.

«Бернштейнианство есть марксизм, обрезавший себе духовные крылья, лишенный прежнего религиозного воодушевления и идеалистического размаха, сведенный к проповеди малых дел

социальной политики. Во многих из своих практических предложений бернштейнианство (несмотря на чрезмерный оппортунизм отдельных его представителей) правильно формулирует требования социально-политического реализма и в этом смысле представляет собою последовательное и исторически необходимое развитие марксизма в политике (особенно ценной нам представляется его позиция в аграрном вопросе); но в то же время нельзя не видеть, что оно убивает самую душу того же марксизма как общего мировоззрения. Теперь спрашивается, чем же заменить прежнее мировоззрение и заполнить образовавшуюся пустоту? Можно ли найти выход из «кризиса марксизма»? Во всяком случае, очевидно, что необходимы новые усилия идейного творчества, новые искания. К сожалению, ни сам Бернштейн, ни его партия, по-видимому, пока не испытывают этой платонической потребности, удовлетворение которой ничего не обещает для практической политики. Все имеет такой вид, как будто ничего не изменилось, и «кризис в марксизме» из острого становится хроническим».

Итак, вся беда на Западе, насколько можно понять г. Булгакова, глашатая части размагниченных марксистов, в том, что Бернштейн вынул душу марксизма — *теорию всеобщего кризиса капитализма*, и в то же время ни его сторонники, ни противники не испытывают «платонической потребности» в идейном творчестве, зуд которой не дает покою г. Булгакову и другим российским критикам.

Для того, чтобы доказать, что эти «явления» западной жизни действительно могут поколебать русских марксистов, надо 1) доказать, что *Zusammenbruchstheorie* действительно опровергнута, 2) доказать, что она составляет *душу* марксизма; 3) доказать, что с падением ее в марксизме как общем мировоззрении образовалась пустота.

Если ни один из этих тезисов нельзя доказать, то, очевидно, все это лишь мнимые поводы к «пересмотру», мнимые мотивы, и что г. Булгаков просто неправильно ставит себе диагноз.

Прежде всего положение о том, что впредь капитализму предстоит в мирном течении покрываться заплатами реформ, остается недоказанным. Уверенность в невозможности *Zusammenbruch'a*³⁵ особенно изумительно слышать в устах «социального агностика» г. Булгакова. Но мы — агностики, пока нам надо, и вместе с тем очень охочи до тенденциозных и голословных утверждений.

Ни для кого не тайна, что факты вроде резолюции последнего германского партийтага, или исключения Мильерана³⁶ из фран-

цузской социалистической партии говорят за то, что противники реформизма отнюдь не сдаются. Да и было бы рано! Бернштейн с полной уверенностью утверждал, что время кризисов миновало... и кризис разразился словно в насмешку над ним.

Бросим взгляд на положение современного капитализма.

За г. Булгаковым имеется одна заслуга: вкуче с Туган-Барановским он навязал Марксу, или *привязал* к Марксу никуда негодную теорию рынков, которую он, однако, не смущаясь, и теперь называет «наиболее ортодоксальной из своих работ», и, представьте, читатель! считает ее «идею» в известном смысле правильной: мы не знаем, в каком «смысле» считает ее правильной г. Булгаков, в обыденном смысле она просто нелепа.

Г-н Булгаков утверждает, что капитализм может до бесконечности развивать свой рынок, реализуя все растущее количество своих продуктов в новых орудиях производства, в новом базисе для своего расширения.

Поэтому же во внешних рынках капиталистическая страна может не нуждаться, а следовательно, никакого внутреннего противоречия в этом смысле капитализм в себе не заключает. Г-н Финн в статье «Промышленный капитализм в России за последнее десятилетие», напечатанной в сборнике «Очерки реалистического мирозерцания», указывает на то, до каких пределов доходило в то время искреннее желание г. Булгакова навязать Марксу эту нелепицу: г. Булгаков привел цитату из III тома «Капитала» Маркса: «По мере развития капитализма вследствие *внутренней* необходимости, присущей этому способу производства, вследствие его потребности *во все более и более* расширенном рынке, расширение его внешней торговли стало его собственным результатом».

Эта цитата явно говорит *против* теории г. Туган-Барановского и г. Булгакова, но г. Булгаков делает в ней «легкие изменения», — слово «внутренний» он опускает, а вместе «все более и более» ставит «более или менее».

Да, г. Булгаков защищал горячо Маркса. Мы имеем все основания радоваться, что с защитой его он наконец покончил.

Теория самодовлеющего капитализма — вздор! Новые орудия производства, в которые реализуется прибавочное производство предыдущего периода, могут иметь ценность только в том случае, если в конце концов находится сбыт для новой волны производимых ими потребительных продуктов.

Это ясно, как день. Как бы ни раздувался капитализм сам по себе, но приобретя исполинский рост, он в конце концов должен бросить на рынок исполинское количество *товаров для по-*

требления. Отсюда погоня за потребителями, поиски за ними по всему земному шару. Стихийно возрастая, капитализм все подчиняет себе, все вбирает в себя и производит, и производит, но рынок, хотя и возрастает также, однако не безграничен, и капитал не в силах создать себе безграничное число потребителей, число, которое вечно росло бы пропорционально сказочному росту производства. Земной шар может содержать целое многочисленное племя полубогов, и будет некогда служить пьедесталом для такого племени, но для капиталистов он скоро окажется тесен. Неужели вы не слышите тревожного биения железного сердца бирмингемов? Англия постепенно вытесняется с рынков и забывает свои традиции, она сознает, что предстоит борьба не на жизнь, а на смерть. Она хватается за протекционизм и империализм. Заатлантический колосс грозит и быстро надвигается.

Скоро дешевенькие товарцы капитализма, грозящие всему прекрасному на земле, заполонят все рынки-океаны и рынки-моря, запрудят рынки-озера, и рынки-пруды, и рынки-лужи, и капитализм начнет задыхаться. Средние капиталисты будут под видом картелей и трестов отдаваться под высокую руку промышленных королей; синдикаты капитала быстро приберут к рукам средние классы, постепенно поставив их в полную зависимость от себя; начнутся неслыханные крахи, безумное жонглирование миллиардами, исступленная реклама, сокрушительная гигантомахия капиталистических громад, в которые сольются капиталы перед издыханием и в тесноте. И среди треска рушащихся предприятий, среди ужасов всевозможных бедствий, порождаемых учащающимися кризисами, среди грома и молний приведенной наконец в действие адской машины милитаризма, среди бешенства интернациональной потасовки... перед изумленными глазами г. бернштейнцев начнется величественный *Götzendämmerung*³⁷.

В набросанной нами «эсхатологии» нет ничего утопического. Она имеет, по меньшей мере, такое же право на научную самозащиту, такую же ценность, как и гипотеза невозможного и гармонично-журчащего течения событий.

Но допустим, что эта эсхатология и всякая другая теория кризиса будет опровергнута. Действительно ли она составляет «душу» марксизма? Покачнется ли от этого его здание? Образуются ли пустота?

Прежде всего, если под «душой» разумеется согревающий приверженца доктрины энтузиазм, то ведь энтузиазм у одного вытекает из одних условий, у другого — из других. Для того, что-

бы какой-нибудь одушевленный интеллигентный самовар зашипел и закипел энтузиазмом, нужны сильные фразы, картины баррикад на завтрашний день, патентованное наукой обещание, что такого-то числа начнут лететь в рот жареные рябчики и т. д., нужно, чтобы в его пустую грудь кто-нибудь вдвинул «угль, пылающий огнем».

Поэтому он (означенный самовар) может кипеть *minimum* имея внутри себя непререкаемую веру в *Zusammenbruch*. Но другие классы серьезно и деловито совершают свою историческую миссию.

Допустим, что они примкнули к господину Булгакову в том, что «проблема социализма, при всей своей этической ясности и даже простоте, не укладывается в рамки законченной и определенной экономической доктрины, но требует неустанного и многообразного социально-политического творчества, опирающегося на внимательное и непредубежденное изучение действительности».

Допустим. Разве энтузиазм должен угаснуть вследствие этого? Разве не понятен, например, энтузиазм даже полубуржуазного Зомбарта, когда он рисует прогресс с этой суженой точки зрения? Шаг за шагом, от победы к победе, вечно создавая новые методы борьбы, но неуклонно имея перед собою «ясную цель» идти вперед — это недурная перспектива, и если не понимать под энтузиазмом истерического восторга и шумного экстаза, к которому, например, германская промышленная демократия никогда не была склонна, то места для «души» здесь, право, довольно. Да и что же меняет во всем этом идеализм? Ведь и он не даст *Zusammenbruch*'а? Ведь он зовет к тому же самому!

«Да», — говорят сторонники г. Булгакова: «но он придает законченность мировоззрению, которое теперь стало шатким!» Мы, по правде сказать, решительно недоумеваем, каким образом может вследствие крушения теории *Zusammenbruch*'а возникнуть «платоническая потребность»?

Что такое марксистское мировоззрение? По общему своему миросозерцанию марксисты примыкают к научному позитивизму, специально же марксистскими «догматами» являются: 1) теория зависимости всех форм социальной жизни от ее содержания — высоты производительных сил данного общества и 2) как выводы из этого общего положения и анализа истории — теория борьбы классов как формы, в которой протекала до сих пор история культурных обществ. Это главные положения марксизма как общего мировоззрения. Как же задевает их *Zusammenbruchstheorie*? Или г. Булгаков относит к общему миро-

воззрению применение этих принципов, сделанное Марксом к анализу *современного* общества? Но Zusammenbruch или постепенная социализация, — а тенденция к переходу капиталистической формы в высшую не только не опровергнута фактами или аргументами, но, напротив, находит все больше защитников, даже в среде людей кафедры. Почему мировоззрение, согласно которому капитализм есть переходная стадия от домашней и ремесленной формы производства к производству общественному, должно считаться полуразрушенным оттого, что переход должен совершиться не путем кризиса, а путем лизиса, выражаясь медицински?

«Почва уходила из-под моих ног», — пишет г. Булгаков.

Нет, под ногами псевдомарксистов интеллигентов никогда не было почвы, хотя они лишь постепенно заметили это, заметили потому, что всякий Баверк³⁸, всякий Штаммлер, всякий Риккерт, всякий Бернштейн бросал их навзничь, что они вечно «колебались» — «приближаясь то к Риллю, то к Шуппе³⁹», то к Соловьеву и так, надеемся, без конца.

Г-н Булгаков никогда не понимал отношения между наукой и идеалом в марксизме, и потому не понимал и значения «прогноза». Он никогда не мог стать на точку зрения определенного класса, идеалы которого продиктованы жизнью, которому наука нужна лишь как фонарь, освещающий тьму, *насколько это возможно*, который не нуждается ни в доказательстве того, что он именно по Божьему велению хочет того, чего он хочет, ни в кристальной прозрачности будущего для того, чтобы не впасть в малодушие. Мышление г. Булгакова всегда было телеологическим, за его спиной не стояли великие исторические мотивы, великая руководительница — жизнь, а *чужак*, конечно, только тогда пойдет за чуждое ему дело, когда вы ему достаточно его разукрасите. Трезвый марксизм перестал вдохновлять г. Булгакова и его присных, и чтобы продолжать *кипеть*, чтобы *не остыть* вконец, он стал вкладывать в отверстую грудь новые «пылающие огнем угли», искусственно подогревать себя словами.

Вот в чем заключается суть их «платонических желаний»: «Те люди, которые ставят задачей своей деятельности служение общественному прогрессу, стремятся к осуществлению *добра* в истории (в какие бы конкретные формы эта задача ни облакалась)! Есть ли это добро только их субъективное представление, пожелание, которое они бессильны осуществить в жизни и в истории (ибо такая задача безмерно превышает индивидуальные * силы человека), или же оно есть объективное и мощное

* А «коллективные» силы, г. Булгаков?

начало? Есть ли оно только создание человеческого сердца, в котором живет и ложь, и всякая неправда, или же оно есть абсолютное начало бытия, которым мы “живем и движемся, и существуем”? Та двуединая правда, о которой так задушевно говорит г. Михайловский, правда-истина и правда-справедливость, есть ли вместе с тем и правда-мощь, все побеждающая и преодолевающая? *Есть ли Добро, есть ли Правда?* <...> Вот вопрос всех вопросов, в ответе на который разрешаются все они. <...> Если да, то и история, хотя она создается людьми и требует наших жертв и усилий, не “никуда не ведет” <...>, но представляет собой планомерное развитие, *прогресс* в подлинном смысле слова».

Так выражает г. Булгаков суть своих запросов.

Но ведь ответить на все эти вопросы «да» невозможно, как бы ни хотелось. О! г. Булгаков знает это, он пишет: «Философские проблемы, составляющие содержание так называемых мировых или проклятых вопросов, даны нам как предмет вечного искания, как загадка, которая хотя и *не допускает окончательного разрешения*, однако постоянно и настойчиво ставится нашему уму». И вот «хотя она не допускает разрешения», а «каждый должен решать»! Г-н Булгаков, ведь это бессмыслица! Как же решать то, что не допускает решения? Но г-ну Булгакову необходимо сказать «да», иначе, как он сам признается, ему «страшно»; иначе он «стынет». Абсолюты, погоня за ними и мнимые их открытия, — все это только возбуждающие средства, лекарства от социальной импотенции, необходимые *чужакам*. Люди жизни предпочитают решать вопросы, которые *решение допускают*.

Мы думаем, читателю достаточно ясен теперь наш взгляд на причины появления ех-марксистов — метафизиков.

Теперь нам остается лишь сделать короткий разбор той самой статьи г. Булгакова, которая, как он с огорчением констатирует, не обратила на себя должного внимания критики.

Надеемся, что остальные статьи мы можем безнаказанно *игнорировать* после всего вышесказанного.

II. Г-н БУЛГАКОВ КРИТИКУЕТ ПОЗИТИВИЗМ

Марксистские статьи г. Булгакова, которыми начинается его сборник, не заслуживают внимания. Нового в них ничего нет. Заметен лишь своеобразный отпечаток: молодой геллертер, для которого «Конт всегда был несомненное Маркса», пытается

уместить свое марксистское миросозерцание в рамки контовской полусхоластики, утомительно, скучно «гомозится» над разными вопросами, серым, якобы по преимуществу философским языком излагая более или менее общие места марксизма.

Оживление проникает изложение Булгакова лишь начиная с его первой еретической статьи, первого симптома совершившейся метаморфозы: «Иван Карамазов как философский тип».

В свое время мы дали краткий отпор этому красноречивому манифесту вернувшегося из Дамаска марксистского Савла⁴⁰. Мы не будем поэтому заниматься этой статьей*.

Мы приступим к разбору той статьи г. Булгакова, которую он сам выдвигает как центральную, т. е. «Основных проблем теории прогресса». На наш взгляд, в этой статье буквально нет живого места. Ни одно из утверждений г. Булгакова не выдерживает прикосновения критики. Правы ли мы, пусть судит читатель.

Мы пойдем за г. Булгаковым по пятам, мы не оставим без ответа ни единого утверждения г. Булгакова, *без обстоятельного* ответа, потому что нашу настоящую статью мы хотели бы считать *окончательной*. О! не в том смысле, чтобы сам г. Булга-

* См. мою статью «Русский Фауст» (Вопросы философии и психологии. 1903. Июль). Вскоре после напечатания этой статьи мои приятели обратили мое внимание на разбор ее, сделанный неким г. Гайдебуровым в «Неделе». Это была презабавная статейка, которая меня сильно рассмешила. Г-н Гайдебуров счел меня почему-то представителем какого-то специфического московского направления, назвал меня унтер-офицером московских лавочников и предсказывал, что московская «гага» — «Русская мысль», меня непременно погладит по головке. Я давно не бывал в Москве и по некоторым обстоятельствам вряд ли скоро попаду туда, но мне было приятно узнать, что позитивизм так широко распространился среди тамошних лавочников. Надеюсь, однако, что московские салоницы все еще верны основам того мировоззрения, которое проповедует г. Гайдебуров. Вся его статья состоит из смеси недоразумений, недоумений и ругательств. Я — Тит Титыч, я привил себе «модную глупость» Ницше, и уж не помню еще что. В конце концов, разделав меня, как говорится, *под орех*, г. Гайдебуров восклицает: «Умри, Денис, лучше ничего не напишешь». Умирать г. Гайдебурову, вероятно, рано, но писать, пожалуй, можно бы и бросить, особенно по сложным вопросам, которые он осилить не может.

Вполне прилична по тону и небессодержательна была критика, направленная против статьи, которую я дебютировал, г. Волжским. Ему я не отвечал лишь благодаря чисто внешним обстоятельствам. Косвенный ответ на его критику читатель найдет во многих моих статьях.

ков признал себя или почувствовал себя разбитым, или чтобы от него отпали его *естественные* адепты, а в смысле окончательного разграничения между нами. И первая же тирада г. Булгакова послужит нам для краткого выяснения самой сущности позитивизма как мирозерцания и жизнечувствования.

Вот эта тирада:

«О. Конт установил так называемый закон трех состояний (*loi des trois états*), согласно которому человечество переходит в своем развитии от теологического понимания мира к метафизическому, а от метафизического к позитивному или научному. Философия Конта ныне уже потеряла кредит, но этот мнимый закон все еще, по-видимому, является основным философским убеждением широких кругов нашего общества. Между тем он представляет собой грубое заблуждение, потому что ни религиозная потребность духа и соответствующая ей область идей и чувств, ни метафизические запросы нашего разума и отвечающее на них умозрение нисколько не уничтожаются, даже ничего не теряют от пышно развивающейся наряду с ними положительной науки. И религия, и метафизическое мышление, и положительное знание отвечают основным духовным потребностям человека, и их развитие может вести только к их взаимному прояснению, отнюдь не уничтожению. Потребности эти являются всеобщими для всех людей и во все времена их существования и составляют духовное начало в человеке в противоположность животному. Изменчивы, таким образом, только способы удовлетворения этих потребностей, которые и развиваются в истории, но не самые потребности».

Посмотрим, действительно ли не произошло никакого замещения религии метафизикой и метафизики наукой, и в каком смысле прав г. Булгаков, указывая на живучесть религиозной и метафизической потребности.

Первоначально, как известно чуть не каждому гимназисту, религия удовлетворяла, наряду с другими запросами человека, также его потребности в познании окружающего. Представление о богах, духах, волях, скрытых за вещами и явлениями, было посильным объяснением их и давало в руки человеку некоторый определенный метод воздействия на внешний мир: его события человек мог изменить, как он думал, молитвами, заклинаниями и жертвоприношениями. Подобное магическое представление живо еще и ныне в невежественных массах и иногда поддерживается теми, кто эксплуатирует это невежество и нуждается в нем. Но даже серьезные богословы давно уже отказались от представления о возможности изменить судь-

бы мира или человека магическими приемами, а также от объяснения отдельных явлений непосредственной волей божеств. Если г. Булгаков станет настаивать на законности мифологического мирозерцания — это его дело, но что это мирозерцание не может выдержать никакого сравнения с научным исследованием природы и техническими приемами воздействия на нее — это ясно каждому.

В своем стремлении к познанию явлений и законов переловое человечество не сразу перешло к чисто эмпирическому методу, — ему предшествовал период умозрительной науки, остатком которой и до сих пор является фетишистское представление о законе природы как о своеобразном, юридическом, так сказать, велении, которому *подчиняются* явления*.

Закон трех стадий совершенно несомненен, поскольку он прилагается к истории положительной науки. Вряд ли г. Булгаков решится отрицать это.

Но ведь стремление человека к познанию никогда не может быть ограничено одним пониманием отдельных явлений: он стремится постичь все сущее в его целом. Наука же не может удовлетворить этому неутомимому стремлению человека.

Действительно ли это так? Странно — почему бы, казалось? Мир есть не что иное, как мир опыта, сверхопытное нам просто не дано: все, что нам дано, доступно познанию. И действительно, современная натурфилософия рисует нам в высшей степени цельное, стройное и грандиозное изображение мира, перед которым безусловно бледнеют все системы метафизические. Нет никакого сомнения, что познание мира далеко не доведено до конца и что каждый натурфилософ, когда он дает цельную космографическую картину, во многих случаях прибегает к гипотезам. Но эти гипотезы состоят в согласии с данными науки, формулированы в терминах опыта, отнюдь не переходя принципиально за его границы, и притом не выдают себя ни за что другое, как за более или менее вероятные гипотезы. Что другое, кроме вероятных гипотез, может дать метафизика? Разве гипотезы невероятные! В настоящее время нельзя найти уже ни одного метафизика, который бы не знал, что вне эмпирических данных, которые обыкновенно включаются каждой метафизической системой в свой организм, они целиком состоят из гипотез.

* Г-н Булгаков пресерьезно навязывает это представление и нынешнему позитивизму, чем выдает свое незнакомство с ним.

Стремление к целостному пониманию мира не есть метафизическая потребность, а потребность *научно-философская*, и метафизике нечего делать при построении картины мира, как это с полной убедительностью показал в своей книге «Метафизика и наука» Алоиз Риль.

Г-н Булгаков толкует: «Задача полного и законченного знания в мире опыта есть вообще неразрешимая и неверно поставленная задача».

Совершенно верно. Но, быть может, она разрешима сверхопытным путем? Не читали ли мы, однако, на XIX стр<анице> предисловия г. Булгакова, что «проклятые вопросы по самому существу своему принадлежат к числу неразрешимых»?

Итак, «окончательное решение», *омега* познания, есть вообще химера как на опытном, так и на сверхопытном пути. Сам г. Булгаков утверждает, что всякие метафизические и религиозные «ответы» суть лишь «этапы» на пути... к чему? — *к неразрешимому*. Но ведь сколько ни двигайся к решению неразрешимого, *вперед* двигаться не будешь.

Что касается позитивной науки, то она совсем не ставит задачи *окончательного* познания, но неспособность науки сказать свое *последнее* слово г. Булгаков лишь по недоразумению, притом, так сказать, злостному, считает ее слабостью. Позитивная наука во всяком случае может дать то, что единственно только и может обещать метафизика: всестороннее мирозерцание для *данного* поколения, живое в своих деталях, но незыблемое в своих методологических основах.

Не было и не может быть эпохи, которая не имела бы своего мировоззрения, и из всех мировоззрений именно позитивно-научное дает объяснение наивысшему количеству фактов, сводит бытие к наибольшему единству и рисует картину и наиболее стройную, и наиболее богатую красками.

Если в современном научном мирозерцании есть пробелы, то они заполняются гипотезами, указующими путь исследования. Мы не знаем, например, как возникла жизнь, но, наверное, узнаем это, так как все больше к этому подходим, пока же существуют превосходные гипотезы.

Каковы же те вопросы, которые совсем не решаются наукой? Пусть сам г. Булгаков перечислит нам их.

Вот эти вопросы:

- 1) Что же представляет собою наш мир в целом?
- 2) Какова его субстанция?
- 3) Имеет ли мир какой-нибудь смысл и разумную цель?
- 4) Имеют ли какую-либо цель наша жизнь и наши деяния?

5) Какова природа добра и зла?

Тотчас же мы узнаем от г. Булгакова, что «компетенция метафизики больше, чем положительной науки, потому что она ставит более важные вопросы и *дает на них ответы*».

О, дать ответ так нетрудно! Но ведь важно, чтобы *правильность* этого ответа можно было хоть как-нибудь, хоть чем-нибудь *доказать*! Пока мы не нашли ответа *доказуемого*, до тех пор говорить об ответе, с научной точки зрения, просто бесстыдство. Г-н Булгаков забывает, что в ответ на эти запросы метафизика может лишь строить гипотезы, обреченные на полную беспомощность перед лицом других гипотез.

«Пусть! Однако вы признаете существование метафизической потребности? признаете, что волей-неволей, а вопросы эти возникают в человеческом уме?» — спросит читатель.

Из пяти булгаковских вопросов лишь два первых относятся к *познанию* мира, остальные три относятся к его *оценке*. Впрочем, смешение проблемы познания с проблемой оценки крайне характерно для некритической мысли.

Что такое мир в целом?

Миром мы называем совокупность нашего опыта, и полный ответ на вопрос о том, что он такое, может дать лишь законченная организация опыта.

Когда мы спрашиваем: что такое *a*? — это значит, что мы просим подставить вместо понятия *a* другое какое-нибудь понятие, более нам знакомое. *Мир* каждому человеку представляется чем-то сложным, а потому непонятным; таким образом, возникает проблема миропознания. При этом, либо допускаем, что вполне возможно прийти к некоторому понятию, вполне для нас знакомому, т. е. некоторому *b*, постановка которого уже никоим образом не возбуждает вопроса: что такое *b*? — или мы не допускаем такой возможности, в каковом случае, очевидно, разрешимых вопросов вообще быть не может*.

Итак, как метафизик, так и позитивист, раз они допускают возможность хотя бы временного решения какого-либо вопроса, — что такое *a*? должны признать, что есть некоторые *b*, *c* и т. д., которые представляют из себя нечто знакомое, *познанное*. Если метафизики говорят, что сущность мира — воля, или, как склонен, по-видимому, думать вместе с Вл. Соловьевым наш уважаемый автор, «любовь Бога», то они, очевидно, полагают, что *воля* или *любовь* это нечто понятное и что никто не спросит их: «А что такое воля? что такое любовь?» Если бы их

* Это замечание, конечно, остается в силе и для метафизиков.

спросили, то они вынуждены были бы, несомненно, сказать (как они и говорят), что это доступно человеку из непосредственного опыта.

Таким образом, познанным, данным всегда и во всех случаях являются элементы опыта.

Если г. Булгаков или другой кто может что-нибудь возразить против этого положения, то пусть сделает это, пусть укажет что-нибудь другое, более понятное, чем простой элемент опыта, внутреннего или внешнего — все равно.

Да, все равно! Моя воля или любовь ничуть не понятнее для меня, чем красный цвет или тон do. И я столько же не в силах постигнуть, каким образом тон do может быть «на деле» колебанием струны или атомов моих нервных и мозговых клеток, как и того, что он на деле *воля* и *любовь*. Поэтому позитивизм оставляет в стороне нелепую попытку сводить качественное разнообразие к *реальному* единству*. Мы, конечно, имеем полное право представлять себе мир, как механизм, и все качественные его проявления, как функционально зависимые от него эпифеномены, и в этом смысле механическое мировоззрение, без сомнения, еще не проиграло игры растущему энергетическому, но употреблять слова «в сущности есть» нелепо. Мир есть мир! Красный цвет есть красный цвет!

Когда на вопрос, что такое красный цвет? — мы ответим, что это есть «представление, возникающее в психике человека, обладающего нормальным зрением в результате воздействия на его глаз эфирных волн определенной длины», то это ничуть не объясняет, что такое красный цвет, а лишь *называет* его таким образом, что он может занять свое место в *организованной картине мира*. На самом деле наше мнимое объяснение гораздо сложнее красного цвета, и ничто не может быть проще его. Если ребенок спросит вас, «что такое красный цвет?» — вы покажете ему несколько красных предметов, и дело с концом. Однако нам кажется, что мы лишь тогда *поняли* красный цвет, когда уложили его в рамки, скажем, механического мировоззрения. Это потому, что тогда он стал элементом понятного, познавательного-организованного мира. На вопрос «что такое мир?» — может быть дан единственный ответ: изображение картины мира, при помощи которой его можно было бы мыслить с наибольшей ясностью. К этому стремится наука. Читатель найдет прекрасный опыт дать краткую, но во всем суще-

* Но наука, конечно, стремится свести его к единству принципиальному — методологическому.

ственном полную картину мира, согласно данным современной науки, в статье С. Суворова «Основы философии жизни» *.

Но, конечно, г. Булгакову нужно не то. Ему нужно какое-нибудь слово, вроде «воля», «любовь»; но ведь это детские побрякушки. Такие слова не разрешают даже отдаленно вопроса во всей его конкретности, и почти с равным правом можно сказать, что мир есть, в сущности, яичница или жестокий романс.

Таким образом, мы видим, что научная философия *ставит* и *решает* вопрос о том, что такое мир, решает его все более и более полно, хотя, вероятно, никогда не скажет своего последнего слова, так как и горизонты человека, и организующие силы его разума будут постоянно расти.

Г-н Булгаков занимает себя детскими побрякушками вроде следующего: «Так как в сравнении с бесконечностью теряют значение всякие конечные величины, как бы ни различались при этом их абсолютные размеры, то можно поэтому сказать, что в настоящее время наука нисколько не ближе к задаче (очевидно, «к решению задачи», хотел сказать г. Б<улгаков>. — А. Л.) дать целостное знание, как была несколько веков тому назад или будет через несколько веков вперед».

Этот жалкий софизм имел бы еще какой-нибудь смысл, если бы для науки не дана была не только конечная ее точка, но и исходный ее пункт; но пункт этот дан: это — беспомощный примитивный человек, и неужели можно сказать, что в деле познания мира мы не сделали ни шага вперед! Ах, эти господа метафизики! Они потихоньку высасывают кровь из предмета, о котором толкуют, и потом, превратив его в бледную тень, издеваются и над ним, и над читателями. Прогресс знания не есть «линия», о нем нельзя рассуждать математически, — это борьба со всеми сладостями победы, в этой борьбе важно не приближение к конечной точке, а *процесс завоевания* разумом все новых областей, выработки таких общих методологических рамок, в которые легко укладываются новые факты и т. д. Власть человека над природой растет, как растет и сознание порядка, закономерности в мире; то и другое означает рост познания, познавательного приспособления человека к природе, залога творческого приспособления природы к человеку.

Второй вопрос г. Булгакова таков: «Какова субстанция мира?» На этот вопрос позитивная наука отвечает, что ее мирозерцание не субстанциально, а актуально, что она не признает

* Сборник «Очерки реалистического мировоззрения».

вопроса о субстанции, а потому читает этот второй вопрос совершенно тождественным с первым.

Это, конечно, не смутит г. Булгакова.

Полюбуйтесь, на какие беззубые ухищрения пускается наш паладин метафизики, увлекая своим дурным примером и бедного г. Волжского:

«В самом деле, если я ставлю вопрос о бытии Божиим, или о сущности вещей (Ding an sich), или о свободе воли и затем отрицательно отвечаю на эти вопросы, то я вовсе не уничтожаю метафизику; напротив, я тем самым признаю ее, признавая законность и необходимость постановки этих вопросов, не умещающихся в рамки положительного знания. Различие ответов на метафизические вопросы разделяет между собою представителей разных философских школ, но это не уничтожает того общего факта, что все философы суть метафизики по самой природе человеческой мысли».

И еще решительнее того:

«Атеисты, с чем большим пылом доказывают небытие Бога, тем наглядней обнаруживают, какую роль в их сознании играет эта проблема, и насколько в нем присутствует Бог хотя бы как предмет отрицания».

Но мы живо сговоримся с г. Булгаковым. Метафизиками называем мы тех, для которых мир сверхопытный существует как предмет утверждения, а позитивистами — тех, для которых он существует как предмет отрицания. Кажется, разница достаточная. И если г. Булгаков будет все же настаивать на слове «существует» — то пусть его.

Два последние вопроса наука, в точном смысле этого слова, ставить не может. Чтобы *оценивать* предметы и явления, надо иметь *критерий* оценки, независимый от критерия истинности; наука спрашивает лишь, «что это?». «Какова ценность этого?» — спрашивает чувство.

Из этого отнюдь не следует, чтобы на поставленные г. Булгаковым вопросы не отвечала позитивная *философия*.

Позитивная философия лишь ясно разграничивает обе точки зрения и строго предостерегает от всякого их смешения.

Стремление во что бы то ни стало смешать их — вот истинно метафизическое стремление, и к нему мы сейчас подойдем, рассматривая, какое решение дает вопросам оценки позитивная философия.

Имеет ли бытие какой-нибудь смысл или разумную цель?

Что хочет сказать человек, когда он называет что-нибудь бессмысленным или осмысленным? Понять *смысл* какого-ни-

будь *a* — значит найти какое-нибудь *b*, которое кажется человеку безусловно осмысленным и которое является целью *a*, так что уж не для чего спрашивать: «А каков смысл этого *b*?»

Отсюда следует, что мы либо должны признать вопрос о смысле мира или чего бы то ни было другого абсолютно неразрешимым, ибо будем наткаться на новый и новый вопрос о смысле, или мы должны признать существование чего-то, что является безусловно осмысленным и, следовательно, может служить конечной осмысливающей целью явлений.

Очевидно, что эта цель должна казаться осмысленной именно *человеку*, т. е. заключать в себе *человеческий* смысл. Но что же кажется человеку осмысленным не постольку, поскольку смысл оцениваемого лежит в чем-нибудь другом, как его цели, а поскольку он именно *в нем* (в оцениваемом объекте) заключен? На это метафизики дают различнейшие ответы, обыкновенно более или менее добронравного свойства; так, конечную целью объявляется, например, нравственность. Но ведь безусловно можно спросить: «Что же, собственно, за смысл нравственности, или какова ее цель?» Ответить на это «отказом в ответе» — значит просто выдать себе *testimonium paupertatis*⁴¹, потому что здесь нет того чувства уверенности в самопонятности, *осмысленности* предмета, какое, например, мы испытываем в самопонятности красного цвета или другого простого качества. Миллионы людей спрашивали и спрашивают: «Каков смысл нравственности? к чему она?», и если г. Булгаков откажется отвечать, то уж это он будет виноват в замалчивании и закрывании глаз на запросы человечества.

Позитивизм подходит к этому вопросу с совершенно иной стороны. При каких условиях человек перестает спрашивать о смысле чего-либо? — А тогда, когда это что-либо ему, человеку, приятно. Это могут быть вино, любовь, познание и нравственность, но все вопросы будут исчерпаны словом — удовольствие, наслаждение и т. п. Для чего пьют вино? любят женщин? познают? стремятся к нравственному совершенству? — Для того, чтобы чувствовать *удовлетворение*.

Быть может, это грубый эвдемонизм? Я прошу убедительно гг. метафизиков подкопаться под него. Я ведь не говорю непременно о грубых наслаждениях, я говорю об *удовлетворении*. Разве не удовлетворение хочет дать человеку г. Булгаков своею метафизикой и религией? Разве он не хочет оправдать их, доказать их осмысленность ссылкой на существование метафизической *потребности*? религиозной *потребности*?

Итак, безусловно осмысленным является чувство удовлетворения. Ни один человек в мире не может спрашивать себя, «какой смысл удовлетворения, удовольствия», так как удовлетворение есть нечто столь же несомненно осмысленное, как *простое* качество есть нечто несомненно понятное.

Я прошу г. Булгакова или присных его указать мне какой-либо другой критерий, стоящий над чувством удовлетворения или даже не стоящий *под* ним.

На вопрос: «Какой смысл нравственной деятельности?» я даю в совершенном согласии с духом Конта ответ: *смысл ее в удовлетворении, которое она доставляет человеку.*

Но так как г. Булгаков любит детские софизмы, то займемся здесь одним из них. А как же быть с чувством неудовлетворенности? разве оно бессмысленно? это вечное искание? вечное недовольство? это истинно-человеческое в человеке?

Бывают разные люди. Быть может, некоторым из них доставляет удовлетворение мыслить себя удовлетворенным. Но активный современный человек не любит покоя, он выше всего ценит чувство развития, *Wille zur Macht*⁴². Вот почему ему доставляет высшее удовлетворение чувствовать, что все блага настоящего не могут остановить роста его запросов и жажды все расширяющейся жизни. Вот и все.

Но что же такое это *удовлетворение*, которое играет такую колоссальную роль в оценке мира и его явлений? Оно, очевидно, предполагает существование потребностей.

Неудовлетворенность чувствует человек, когда он ощущает потребность, какую бы то ни было, и не в силах утолить ее. Стало быть, осмысленным он может находить лишь то, что так или иначе удовлетворяет его потребность. Оценить что-нибудь — значит рассмотреть это что-нибудь в его отношении к потребностям субъекта. Всякое явление может быть ценным лишь *для кого-нибудь*, и притом *кого-нибудь, обладающего потребностями.*

Таким образом, для позитивиста вопрос о смысле или цели мира сводится к вопросу об отношении мира к потребностям человека. Вылезти из своих потребностей ни один человек не может.

Никаких абсолютов в этом отношении не дано человеку. Дикарь спрашивает, чтобы узнать ценность предмета: «А это едят?» В его раю текут молочные реки в кисельных берегах и летают прямо в рот жареные рябчики. Грек спрашивал: «Способствует ли данная вещь гармонии душевной и телесной?» В его элизиуме мудрые и прекрасные мужи наслаждались чару-

ющей, гармоничной красотой примиренной природы. Кант спрашивал: «Способствует ли данная вещь свободе человека, в смысле независимости его воли от всех потребностей, кроме категорического императива (повиновение которому есть *нравственная потребность*)?» В его раю... впрочем, его рай так абстрактен, что трудно говорить о нем: но все же в его раю люди живут счастливо, сознавая, что они заслужили это счастье нравственным поведением.

Ницше спрашивает о том, способствует ли переоцениваемая им ценность повышению сил в индивидуе, и в его раю люди или сверхлюди наслаждаются сознанием своей победоносной силы и пафосом дистанции от рабов с их кантианской моралью. Марксист спрашивает о том, способствует ли оцениваемое победе человека над стихиями внешними и общественными, повышению солидарности, планомерности человеческого труда и его производительности; в его раю племя человеко-богов лучезарною семьей покоряет себе стихии, все расширяя круг царства разумности, заставляя мир служить для удовлетворения все растущих потребностей своего царя и завоевателя — человека.

Но всегда в основе каждой оценки, каждой вещи лежит способность ее удовлетворять потребности. И оцениваемое кажется тем более ценным, чем более удовлетворения доставляет утоление той потребности, которой она отвечает, и чем в большей мере она ее уголяет.

Вот с какой точки зрения подходит позитивная эстетика или «философия оценивающая» к вопросу о ценности мира. Какой же ответ дает она на этот вопрос?

Ответ этот может быть прежде всего двояк. Если жизнь в мире удовлетворяет данного человека, то он, естественно, и не ищет никакого другого смысла в жизни. «Жизнь для жизни нам дана!» или: «Ах, как прекрасен Божий мир!» — вот что скажет он нам с ясной улыбкой.

Но таких баловней судьбы, оптимистов чистой воды, очень и очень мало. Непосредственное чувство вовсе не говорит большинству людей, чтобы мир был прекрасен. В нем, несомненно, есть добро и зло, ибо в нем есть и наслаждение, и страдание, радость и горе, удовлетворенность и неудовлетворенность.

Элементов зла в мире не отрицает абсолютно никто из философов. Очевидно, что вопрос об оценке мира усложняется тем более, чем больше и тех и других элементов констатируется вами в мире. Но даже из самого мрачного пессимизма ведь есть выход: это уверенность в том, что мир становится лучше.

Убедить нас, что мир хорош, не могут никакие адвокаты, добровольно берущие на себя задачу теодицеи, но они могут убедить нас, что он *улучшается*. На это они и бьют обыкновенно.

Наиболее распространенная, если не всеобщая, оценка мира у представителей позитивизма такова: мир как объект для *созерцания* скорее дурен, чем хорош, и это объясняется тем, что человек в нем есть лишь один из приспособляющихся к нему элементов, а целое отнюдь не рассчитано на удовлетворение именно его потребностей; но все заставляет нас думать, что как объект для *деятельности* мир хорош, ибо путем познания и творчества мы можем приспособиться к нему и приспособить его к себе.

Поэтому на место вопроса о ценности мира, который есть вопрос довольно праздный, позитивист ставит вопрос о том, какими путями можно возвысить ценность мира.

Мне кажется, что после сказанного неважно останавливаться на вопросе о ценности человеческой деятельности и о добре и зле.

* * *

Мы видим таким образом, что позитивизм удовлетворяет всем потребностям и запросам человека, но, читатель, не всякого человека.

Активный, смелый, мужественный человек не страшится того, что успех его предприятия ничем не гарантирован. Он верит в свои силы, он борется, и, если стихии побеждают его, он героически гибнет, почерпая утешение в сознании, что он остался верен себе, не унижал себя ложью, бегством от истины и т. д. Но для малодушного человека необходима верная гарантия, без нее «его душу наполняет леденящий ужас».

Гарантировано ли возрастание ценности мира? Или, другими словами, «есть ли абсолютное благо как активное начало»? так как, по г. Булгакову, эти вопросы однозначны. На них *жаждут* положительного ответа.

И представьте, нам откровенно признаются, что именно эта *жажда* служит достаточным, хотя единственным основанием к тому, чтобы отвечать на «вопрос вопросов» утвердительно!

В глазах науки пристрастный исследователь — позор, в глазах метафизики он законен, он создает, лепит именно из своего *пристрастия* ответ на свои запросы и... доволен.

В самом деле, с чего начинает г. Булгаков? С того, что человек жаждет верить тому, что добро есть всепобеждающая мощь.

Прекрасно. Человек ставит вопрос о том, *так ли это?* И г. Булгаков предлагает ему *знание*, что это так, это знание есть *та самая вера, которую мы хотели обосновать*. Г-н Булгаков сам говорит, что слово «знание» здесь мало подходит. Очень мало, совсем даже не подходит. *Знать* — это значит быть уверенным на основании «логической бесспорности», *верить* значит слепо полагаться на авторитет или голос чувства.

Итак, г. Булгаков говорит, что позитивизм не может *доказать* нам, что добро есть мощь, это его *слабость*. Г-н Булгаков *сильнее*, он может ответить на вопрос вопросов приказанием *верить*, что добро *действительно* есть мощь.

Позитивизм не может дать логически бесспорного доказательства, что ценность мира возрастает, но такого доказательства, как явствует из слов самого г. Булгакова, не может дать ни метафизика, ни религия. Религия основывается на наличности чувства веры, но ведь в том-то и дело, что «вопрос всех вопросов» задавать может лишь тот, кто *сомневается*, а религия, по словам самого г. Булгакова, может лишь *запретить ему сомневаться*, рекомендовать ему побольше веры.

«Блажен, кто верует!», г. Булгаков.

Мы видим, таким образом, что как в познании отдельных явлений, так и в познании мирового целого, так, наконец, и в его оценке позитивизм резко отличается от религиозного и метафизического мышления и идет им на смену. Потребность в целостности познания и в оценке мира вовсе не является метафизической и религиозной потребностью, это просто узурпация, так как потребности эти находят свое полное удовлетворение (хотя не окончательное, как и у метафизиков) без помощи допущения потустороннего мира, сверхопытного бытия, какое допущение и есть признак метафизики, как показывает самое ее название, и религия в точном смысле этого слова (как вера в сверхопытный мир).

Метафизическая потребность не умерла: это — потребность малодушных в безусловной гарантии ценности самого человека в глазах мира, или чего-то, что еще выше мира; это — жажда закрыть глаза на трагическое положение разумных созданий среди громады вселенной, — трагическое, но вдохновляющее, но зовущее, боевое, увлекательное, даже веселое для натуры активной.

Метафизическая потребность держится еще в невежественных массах и в небольшой цитадели, населенной малодушными людьми. Впрочем, быть может, я преувеличиваю число активных позитивистов по сравнению с жаждущими потусторонних

помощников и покровителей. Но во всяком случае между одними и другими не может быть мира.

Как мы уже сказали, позитивизм оставляет вопрос об отдаленно-грядущих судьбах человечества под сомнением, но поскольку жизнь в настоящее время не есть и не может быть «удовлетворенностью», позитивисты призывают к активности как естественному проявлению неудовлетворенности.

Но г. Булгакову ужасно хочется доказать, что у позитивизма существует «теория прогресса» и что эта «теория» есть, в сущности, *вера* или, по меньшей мере, *метафизика*.

Для того, чтобы убедиться, какой это пустой вздор, нам придется сначала рассмотреть, что сваливает в кучу наш автор под именем «теории прогресса».

В одну кучу бросает г. Булгаков три совершенно разнородные вещи, а именно: 1) абстрактную теорию прогресса, относящуюся к мирооценке, а не к миропознанию, и отвечающую на вопрос: каков должен быть процесс, чтобы мы назвали его прогрессом? 2) теорию эволюции, отвечающую на вопрос: каков общий характер наблюдаемого нами в опытном мире процесса? и 3) теорию конкретного культурного прогресса, отвечающую на вопрос о том, каковы тенденции нашей культуры и ближайшие ее этапы.

Как же отвечает позитивизм на каждый из этих вопросов.

1) Можно легко формулировать наивысший мыслимый идеал жизни: это — идеал *божеского* существования, так как образы богов создавались именно под диктовку естественных запросов человека. Мир, согласно этому идеалу, должен представлять из себя постоянный и все растущий материал для безмерного наслаждения, в свою очередь растущего. Человечество должно представлять из себя группу индивидов с могучим ростом жизни, ростом власти и познания, так как наслаждением является, как учит психология, лишь растущее в своей интенсивности положительное чувство. Человечество должно стать плодом мира, ради которого он существует, служа ему корнем и стволом; мир должен приобрести в человеке своего разумного и могучего царя и свой «смысл». Таков естественный идеал *гордого* человечества*.

Все, что ведет к победе человека над внешними стихиями и над стихиями внутренними, затрудняющими поступательный

* Малодушное человечество видит идеал в торжестве смирения, самоотречения и т. п., прикрывая этот рабский идеал словом «свобода», которая оказывается... свободой от желаний!

ход человечества, — прогрессивно, остальное или безразлично, или регрессивно.

Г-н Булгаков завопит о том, что мы вторгаемся в область метафизики и религии, что мы апеллируем к «должному» и к «вере».

Г-н Булгаков будет в горестном заблуждении, если поступит таким образом. Мы имеем здесь дело не с категорией *должного*, а с категорией *желательного*, которая легко и естественно укладывается в рамки научного мировоззрения, как определенная сторона *жизни*.

Мы не прибегаем также к вере, потому что мы устанавливаем лишь то, чего мы желаем и чего, как мы, впрочем, *лишь полагаем*, не может не желать всякий развитой человек. Мы вовсе не утверждаем, что мировой процесс есть именно прогресс в нашем смысле, ни того, что человеку, как определенно направленной *силе* среди других сил мира, непременно удастся направить этот процесс по желанному пути; мы устанавливаем лишь критерий оценки процессов и путеводный огонь для деятельности человека.

Не знаю, поймет ли меня г. Булгаков, но непредубежденные читатели, наверно, меня поняли. Этот идеал является *сверхнаучным*, как сверхнаучен всякий *факт*: факты даются не наукой, а действительностью, и идеал есть факт, который мы находим в нашем внутреннем опыте. Дело науки осветить нам его происхождение и дать посильный ответ на вопрос о его исполнимости и о путях к нему.

2) Быть может, и даже наверно, со временем найдутся формулы эволюций более изящные и полные, чем спенсеровская, но пока она наилучшая. Вот она в формулировке самого Спенсера:

«1) Повсюду во вселенной как в общем, так и в частном, происходит непрерывное перераспределение материи и движения.

2) Это перераспределение является эволюцией, когда в нем преобладает интеграция материи и рассеяние движения, но оно является разложением, когда в нем преобладает поглощение движения и дезинтеграция материи.

3) Эволюция будет простою, когда процесс интеграции или образование связного агрегата не осложняется другими процессами.

4) Эволюция будет сложною, когда рядом с первичным изменением от бессвязного состояния к состоянию связному происходят вторичные изменения, вызванные несходством в положении различных частей агрегата.

5) Эти вторичные изменения совершают превращение однородного в разнородное, — превращение, которое, подобно первичному изменению, обнаруживается и во вселенной, как в целом, так и всех (или почти всех) ее частях: в агрегатах звезд и туманностей; в солнечной системе; в земле как неорганической массе; в каждом организме животном и растительном (закон Бэра); в собрании организмов в течение геологического периода, в духе, в обществе, во всех продуктах общественной деятельности.

6) Процесс интеграции как в частном, так и в общем проявлении соединяется с процессом дифференциации, чтобы сделать это изменение не простым переходом от однородности к разнородности, но переходом от неопределенной однородности к определенной разнородности; и эта возрастающая определенность, сопровождающая возрастающую разнородность, проявляется, подобно последней, как в общей совокупности вещей, так и во всех ее делениях и подразделениях, до самых мельчайших.

7) Рядом с перераспределением материи, составляющей какой-нибудь развивающийся агрегат, происходит перераспределение сохраненного движения его составных частей в отношении друг к другу; оно тоже становится, шаг за шагом, более определенным и более разнородным.

8) За отсутствием бесконечной и абсолютной однородности, это перераспределение, одну из фаз которого составляет эволюция, является неизбежным.

9) Равновесие является конечным результатом превращений, испытываемых развивающимся агрегатом. Эти изменения совершаются до тех пор, пока не достигнется равновесие между силами, действию которых подвержены все части агрегата, и силами, им противопоставляемыми этими частями агрегата. По пути к окончательному равновесию процесс может пройти через переходное состояние уравновешенных движений (как в планетной системе) и уравновешенных отправлений (как в живом теле), но состояние покоя для неорганических тел и смерть в органическом мире есть необходимый предел всех перемен, составляющих эволюцию.

10) Разложение есть процесс обратных изменений, которому, рано или поздно, подвергается всякий развивающийся агрегат. Подверженный влиянию окружающих неуравновешенных сил, каждый агрегат постоянно может быть рассеян, благодаря постепенному или внезапному возрастанию заключенного в нем движения; и этому рассеянию, быстро претерпеваемому тела-

ми, которые еще недавно жили, и медленно совершаемому среди неодоушевленных масс, подвергнется, в неопределенно отдаленный период, каждая планетная и звездная масса, которая в неопределенно отдаленный прошедший период начала постепенно развиваться: таким образом закончится цикл превращений.

11) Этот ритм эволюции и разложения (завершающийся среди малых агрегатов в короткие периоды, а среди больших агрегатов требующий периодов, неизмеримых человеческим умом), насколько мы можем судить, вечен и всеобщ, — каждая из чередующихся фаз процесса господствует в известный момент в одном месте, в известный — в другом, смотря по местным условиям».

Таковы факты. Какова же может быть оценка их, т. е. *прогрессивна ли эволюция*. Да, эволюция прогрессивна, а *инволюция* регрессивна. Единство в разнообразии есть основной эстетический принцип; человек тем более живет, ощущает, тем более удовлетворен (радостен), чем большее количество элементов окружающего он может объединить, т. е. охватить в законченное единство. Следовательно, мир, дифференцируясь и интегрируясь в глазах человека, становится все более прекрасным, понятным, а потому и более родным и ценным. Дифференциация же и интеграция жизни есть не что иное, как ее усложнение или обогащение, рядом с которым идет все более полная организованность приобретенных богатств. Совпадение закона эволюции с тенденцией человека как разумного существа совершенно естественно: человек есть плод эволюции, ее фрагмент, утверждая жизнь, он, очевидно, должен утверждать и закон жизни. Люди же, отрицающие жизнь, *по тому самому* должны считаться больными.

Больной человек, отрицающий жизнь, должен находить прогрессивной не эволюцию, а инволюцию, т. е. дезинтеграцию мира и обращение его к относительному небытию — нирване.

Утверждающий жизнь человек желал бы навеки удержать закон эволюции и предвидеть впереди вечное развитие; *отрицатели* жизни желали бы порвать круг сансары, вечное вращение «великого года» и навеки погрузиться в небытие⁴³.

Строго говоря, наука не может отрицать ни одной из трех возможных перспектив: вечного вращения эволюционного круга, вечного процесса и окончательного небытия.

На этот вопрос, конечно, не могут дать ответа ни метафизика, ни религия, т. е. могут дать, но — ответ, подобный знаменитому ответу остроумного аббата на вопрос Генриха IV⁴⁴: «Сколь-

ко звезд на небе?» Как известно, аббат назвал какую-то большую цифру, и когда король усомнился в ее правильности, аббат ответил: «Извольте проверить, Ваше Величество».

Но подобные ответы могут казаться заслуживающими этого имени лишь тем, кто умеет и хочет себя морочить.

Ввиду невозможности ответить на вопрос о судьбе мира утвердительно, позитивизм выработал ответ на другой вопрос: *как лучше всего вести себя человеку ввиду возможности всех трех исходов?* В самом деле, на первый взгляд кажется, что ответ на этот вопрос должен быть дан совершенно разный, соответственно каждому из возможных решений вопроса о мировом процессе, а на деле это не так.

Я позволю себе уяснить читателям этот пункт небольшой притчей.

К одному беспутному и остроумному гуляке явился мудрец с седой бородою и, сурово вперив в него глаза, произнес громовым голосом:

— Безумец! или ты не знаешь, что в каждый момент своей жизни ты живешь для вечности! Или не знаешь ты, что снова и снова возвратится твой век, и твое рождение, и этот миг! И вместо того, чтобы украсить жизнь, как подобает вечному предмету, что ты делаешь из нее?! Ты разрушаешь тело и душу и погибнешь жертвой порока.

— Дяденька, — отвечал гуляка, — так значит, я не в первый раз живу на земле? Но если мое существование неминуемо повторится снова и снова в том виде, как я живу сейчас, значит, моя нынешняя жизнь уже определилась в свою очередь предшествующей! Что же я могу поделать. Если ты уже несчетное количество раз приставал ко мне с этими поучениями, то я, должно быть, каждый раз не слушал тебя — все по тому же разумному поводу, что ничто неизменно; остается брать жизнь, как она есть, и играть ту роль, которую навеки дал нам неведомый режиссер под неведомого суфлера.

Мудрец нахмурился и сказал: «Жалкий человек! Я обманул тебя! Мир придет к гибели. Все станет великим — и ничтожным ничто. Неужели перед ужасом этой перспективы ты не побледнеешь, и бокал не выпадет из твоих рук, и ты не позаботишься о том, чтобы вести себя достойно перед страшным лицом властительницы-смерти?»

— Эх, дядя! не люблю, когда мне мешают, — сказал гуляка: — право, если мы все обратимся в ничто, то совершенно безразлично, чем мы были. Я не думаю, чтобы вы были довольны подарком, если бы вам подарили щепотку золы и сказали,

что это был необыкновенно мудрый фолиант. Зола остается золой, и ничто всегда равно нулю, как и все, что к нулю приходит.

— Несчастный... ты пятно на челе человечества. С твоим умом ты мог бы служить грядущему. Знай же, что в грядущем человечеству суждено победить и воцариться над природой в сверкающем апофеозе. И ты мог бы способствовать этой славе, однако вместо того ты проводишь жизнь в обществе непотребных женщин и отребьев черни.

— Так человечеству суждено победить?! Душевно рад, в таком случае они обойдутся и без меня. — И гуляка предложил присутствующим играть в кости.

Я боюсь надоесть читателю моей притчей, однако мне необходимо рассказать и вторую ее часть.

Гуляка был очень доволен своим разговором с мудрецом и от души считал его победой. Поэтому он пошел к своему брату, человеку серьезному, который провел свою жизнь в лаборатории, где варил свои эликсиры, исцелявшие от многих болезней. Придя к нему, гуляка сказал:

— Знаешь ли ты, что в мире все есть коловращение и что ничто не ново под луной? К чему же сидишь ты тут и стараешься придумать новые эликсиры, когда те, кто болен теперь, будут, несмотря ни на что, снова и снова больны в будущих вращениях?

— Я рад, что я, по крайней мере, снова и снова облегчу их страдания.

— Я сказал это нарочно, — с хитрой улыбкой молвил гуляка, — мир должен погибнуть, и не все ли равно, вылечишь ли ты Ивана да Марью, или нет: мы все погрузимся в черную дыру.

— Из этого не следует, чтобы Иван и Марья должны были страдать хоть на один миг дольше, — ответил врач.

Гуляка несколько смутился! — Но человечество... — сказал он несколько неуверенно, — обойдется и без тебя, ему суждено победить...

— О, мой труд мне не тягость, а удовольствие, и я рад участвовать в борьбе, все равно — будет ли она победоносной, или нет.

— Но что тебе за дело до других! — с досадой вскричал кутила, — ешь, пей и веселись.

— Мой друг, — сказал врач, — это мне скучно. Мне приятно создавать новые ценности по мере моих сил.

— Но для чего?

— Разве можно спрашивать, для чего человек делает то, что доставляет ему радость. Ради радости творчества.

— А! — воскликнул гуляка, — я поймал тебя! между нами нет разницы! Я люблю лафит, моя подруга предпочитает ликер, а у тебя вкус к творчеству, ведь все сводится к одному удовольствию.

— Ты прав, брат. Я не променяю своего удела на твой, как и ты на мой. Нельзя никого убедить доводами разума, что творчество лучше лафита, но я надеюсь воспитать моих детей и детей моих соседей в моем духе, потому что творчество ценностей делает жизнь все шире и глубже, все царственнее и полнее, и эта идея приводит меня в восхищение. Твои же наслаждения в лучшем случае оставляют тебя тем, что ты есть. Я не знаю, что суждено человечеству, но если оно в силах победить, то, очевидно, на моем пути. Я думаю, что нас будет все больше, а вас все меньше. Мы творим и боремся, мы пытливы смотрим в грядущее, чтобы правильно направлять корабль жизни. Мы боремся за ближайшее счастье, которое несомненно, и так шаг за шагом. Если мы упрямся в стену, то лучшие из нас, вероятно, перестанут жить, предпочитая смерть суженному размаху творческой жизни, а худшие будут «существовать». Я хотел бы, чтобы человечество и отдельные люди побеждали или умирали, не уступая ни пяди совершенства и мощи, которую завоевали. Я думаю, что среди людей те, кто мыслит, как я, — прочнее и возьмут перевес над вами, а тогда они пойдут вперед, насколько хватит сил, быть может, до бесконечной власти над миром и обожествления человека, но, во всяком случае, они не унижатся, и, даже умирая, они будут удовлетворены тем, что в жизни были воинственны и горды и ни разу не унизились. И в этом они увидят смысл своей жизни и достаточный смысл мира в их глазах.

Гуляка ушел от брата задумавшись, потому что брат был прекрасен, когда говорил это. А между тем к ученому юркнул подслушавший все молодой жрец. — Врач, — сказал он, — сколько силы придашь ты себе и своим, когда уверуешь, что есть великие и всемогущие существа, которые помогают тебе. — Но врач улыбнулся и сказал: — Пойди вон.

Хотя наша притча вышла несоразмерно длинной, но зато мы сказали все, что хотели, относительно позитивной оценки мира, и нам остается лишь добавить кое-что о третьей теории прогресса.

Г-н Булгаков утверждает, что теория прогресса имеет свое *Jenseits* в представлении о грядущем счастье человечества. Те-

перь мы можем спросить г. Булгакова, какая же это теория прогресса? Если абстрактная, то ведь она отвечает лишь на вопрос о том, *что* мы назвали бы прогрессом.

Если теория мировой эволюции, то, насколько нам известно, ни один эволюционист не решался утверждать, будто счастье человечества есть неизбежный конец или есть неизбежное звено мирового процесса.

Г-н Булгаков живым манером приравнивает затем теорию прогресса и социологию, а социология оказывается у него не чем иным, как научным социализмом.

Неужели социализм, как утверждает г. Булгаков, хотел *предсказать*, доказать *неизбежность* наступления социалистического строя, который есть и «идеал современного человечества» (например, буржуазии? крестьянства? китайцев? папуасов?)?

Но, г. Булгаков, незачем употреблять особых усилий, чтобы доказать «немногими основными пунктами», «что социальная наука по самой своей познавательной природе не способна к предсказанию».

«Что значит предсказывать будущее? Это значит *точно* (NB. — Курсив автора) определять наступление будущих событий в определенном пункте пространства и времени».

О! г. Булгаков! Ради бога, не ломитесь в открытые двери! Ни Маркс, ни Энгельс, ни социология, ни любая теория прогресса подобными вещами не занимаются. Зачем же непременно *точно*? Хорошо, если удастся хоть *приблизительно*, в общих чертах предугадать ход будущих событий.

Но это не значит предсказывать! Ну и ладно, Маркс себя за пророка и не выдавал.

Но тут-то г. Булгаков становится великолепен.

«Всякие иные предсказания суть просто общие места, из приличия называемые иногда в общественной науке словом “тенденция развития”».

Если бы я не знал, что я прочел эти строки в книге г. Булгакова, я бы подумал, что это пишет г. Бердяев: до того глубокой научной беспомощностью и невежеством веет от этой фразы.

В разное время г. Булгаков «приближался к Платону, Виндельбанду, Рилю» и еще там к кому-то! О! если бы он иногда приближался хоть ненадолго к Юму, Миллю и естествознанию!

Мы не будем настаивать на явной обмолвке г. Булгакова, будто «тенденцией развития» называются «общие места». Это явный вздор.

Тенденция развития есть факт, или, вернее, научно констатированная постепенность в ряде фактов, например: сжатие

солнца, переход от однородного к разнородному в эмбриональном развитии, концентрация капиталов в промышленности.

Г-н Булгаков смешивает тенденцию развития с ее формулой. И вот что говорит он об этой формуле: «Это наиболее общая формула, выражающая смысл до сих пор протекшего развития и его резюмирующая, но лишенная фактического содержания», — продолжает наш гносеолог, — «лишь мысленно продолжаемая от настоящего в будущее, эта тенденция тотчас же обращается в общее место, в игру ума, *лишенную всякого серьезного значения*».

Прежде всего я прошу сопоставить подчеркнутые мною слова со следующими строками:

«Человечество никогда не перестанет думать о завтрашнем дне и в свои представления о нем вводить то понимание действительности нынешнего и вчерашнего дня, которое дает социальная наука. Так же точно никто не может обойтись без того, чтобы на основании здравого смысла и научного опыта не составить себе известного суждения не только о настоящем, но и о ближайшем будущем, для которого каждый из нас работает. Если назвать и это предсказанием, то делать предсказания о будущем в этом смысле есть право и обязанность каждого сознательного человека».

Но ведь это лишено «всякого серьезного значения», г. Булгаков?

Но не в том дело. Дело в том, что г. Булгаков понятия не имеет о науке, о научных методах. Все естествознание покоится на «наиболее общих формулах, выражающих и резюмирующих смысл до сих пор протекших явлений».

Как же иначе, г. Булгаков? Все *законы* механики, физики, химии — все это тоже формулы; когда физик *предсказывает*, как протечет сейчас опыт в его кабинете, он лишь судит по свидетельству прошлого, лишь «мысленно продолжает от настоящего в будущее».

На этом стоит вся техника, вся *жизнь* человеческая.

Для того же, чтобы предсказания науки имели *точный* характер, поступают следующим образом: совершенно отвлекаются от влияний, которые являются с точки зрения исследуемого побочными, *выделяют* один какой-нибудь ряд явлений, заставляют его действовать как бы в пустоте, если возможно, — то путем соответственно обставленного научного эксперимента, а если нельзя, то мысленно учитывая результат таких побочных влияний, производя мысленно реконструкцию явления, как бы вне побочных явлений (метод абстрактно-аналитический).

Итак, чем проще явления, чем легче разложить их на уже обследованные тенденции, тем точнее их предсказание. Но путь к точному предсказанию всегда один: открыть и выделить все тенденции явлений.

Г-н Булгаков употребляет все имя астрономии. Можно заподозрить, что почтенный идеалист весьма поверхностно знаком или даже вовсе незнаком с этой наукой, иначе он знал бы, что астрономия на каждом шагу прибегает к методу абстрактно-аналитическому: движения планет она слагает из прямолинейного определенного движения мимо солнца (по касательной своих орбит) и определенного движения к центру солнца, но при этом она не получает еще точного предсказания, — а лишь приблизительное, — это только *тенденции* движения планет, в него вмешиваются еще разные сторонние влияние, производящие пертурбации.

Приведу маленький пример из области астрономии, которую и Булгаков столь победоносно противопоставляет бедняжке социологии.

В 1820 году Биела открыл комету, пути которой были точно исследованы, и период ее возвращения точно вычислен. Но в 1846 году, совершенно неожиданно для ученого мира, вместо одной кометы явилось две, расстояние между которыми с каждым новым появлением увеличивалось, а начиная с 1852 года комета просто взяла да и перестала появляться.

Вот тебе и «точное предсказание».

Или, например, астрономы, нисколько не приходя в отчаяние и ничуть не находя, чтобы они занимались пустой игрой ума, констатируют, что комета Энке при каждом новом обращении достигает ближайшей к солнцу точки на 24 часа раньше, чем следовало бы по вычислению.

И представьте! г. Булгаков не поверит, как легкомысленны эти астрономы! совершенные социологи! Они увидели в этих и подобных фактах тенденцию развития и построили теорию, согласно которой обращения всех светил постепенно замедляются, благодаря чему все кометы и планеты в конце концов должны слиться с массой солнца.

Но в довершение скандала, непокорная комета Энке, например, с 1865 по 1871 год совсем не сократила своего пути!

Астрономы пожали плечами и очень спокойно, с легкомыслием, можно сказать, социологическим, решили, что «современные гипотезы далеко не исчерпывают всех сил, какие могут влиять на движение кометы».

Итак, научные предсказания всегда относительны, так как они всегда суть «мысленные продолжения тенденций действительности» и, конечно, лишены «фактического содержания», так как ведь дело идет о будущем, а слово «факт» обозначает собою «совершившееся».

Между естествознанием и социологией нет коренной, принципиальной разницы, а лишь разница в сложности явлений, подлежащих исследованию этих наук. Социология есть не что иное, как отдел естествознания.

И когда г. Булгаков пишет, что «Исторические понятия не увеличивают нашего знания, а лишь наше понимание», то он выдает свое собственное незнание и непонимание сущности науки, которая, внося закономерность в хаос фактов, имеет своею целью прояснить будущее.

Будем двигаться дальше вслед за нашим мистагогом⁴⁵.

«Доказав» несостоятельность науки в деле открытия абсолютных, тех самых, от которых эта наука всячески отрещивается, наш мистагог навязывает затем позитивистам «религию».

Собственно говоря, пишущий эти строки, отнюдь не возлагая, конечно, ответственности за свои личные мнения на ту социально-философскую школу, к адептам которой он с гордостью себя причисляет, должен заявить, что ничего не имел бы против выражения «позитивная религия», всеми силами протестуя, однако, против «позитивной метафизики» — этого «деревянного железа».

Мы лично склонны понимать под *религиозным чувством* чувство связи между личностью и разными великими средами: национальностью, партией, человечеством, космосом, чувство принадлежности к некоторой высшей индивидуальности; а под религиозной философией, — исследование происхождения и эволюции сверхиндивидуальных чувствований и их эстетическую и социально-биологическую (что в сущности одно и то же) оценку.

Но ведь г. Булгаков понимает под религией нечто совершенно другое.

«Почему человечество наделяется совершенством, бессмертием, абсолютностью?» — спрашивает г. Булгаков у тех позитивистов, — а их, думается, немало, — которые ничего не имеют против выражения «религия человечества».

О, г-н Булгаков! мы прекрасно знаем и скорбно чувствуем, как несовершенно, как жалко человечество даже перед идеалом нынешнего поколения, даже перед светом того образа, который

создают в своем воображении его друзья, как ближайшую и вполне осуществимую цель.

«Абсолютность» человечества! Что это за дичь! Как может что-либо конкретное, некоторая *часть* вселенной, нечто данное в опыте быть абсолютным. Это логический абсурд.

Но мистагог мимоходом, как нечто само собою разумеющееся, бросает: «Лишь при наличности этих свойств возможно религиозное отношение».

Ну, ладно! значит, наше отношение, согласно *вашей* терминологии, *не религиозное*.

Вообразите, что кто-нибудь был бы, например, уверен, что нравственность и предписания Талмуда одно и то же, и называл бы всех мыслящих, чувствующих и действующих не по Талмуду — безнравственными? — Ну и пусть его!

Но у г. Булгакова есть веские основания.

«Видеть высшую и последнюю цель бытия в этом преходящем и случайном существовании для человека невыносимо».

Ужасно трудно было бы нам разговаривать с г. Булгаковым! У него вся психика насквозь проникнута его специфической религиозностью, он все укладывает в *свои* рамки!..

Имеет ли бытие «цель», т. е. мыслит ли оно, или кто-то над ним в категориях цели, по-человечески — вопрос, притом неразрешимый и потому праздный.

Совсем другое дело вопрос о том, *какова цель жизни*, т. е., другими словами, *какое разумное употребление может сделать человек из факта своего существования?* — на какой весьма позитивный и важный вопрос, в общем, дается ответ: сделать эту жизнь возможно более полной, сильной, или, что то же, *красивой*. Ведь мы знаем, что при некоторых условиях жизнь является положительной величиной, жить становится *радостно*, — ну, значит, целью жизни должна быть *радостная, возможно более радостная жизнь*.

И ни один человек, заметьте, не ускользает ни от позитивного вопроса, ни от позитивного ответа, нами изложенных. Все люди, в сущности, спрашивают: «Как мне жить?» — и этот вопрос составляет разумное зерно высокопарно-наивного вопроса о «высшей цели бытия».

Но *почему* же человеку невыносимо видеть цель своей жизни именно в своей, индивидуальной жизни?

Прежде всего самое утверждение г. Булгакова неверно вдвойне. Во-первых, есть много людей, которые совершенно спокойно видят цель своей жизни именно в полноте чисто эго-

истических переживаний. И зачастую это превосходные экземпляры породы *homo sapiens*.

Во-вторых, обратным путем, так сказать рикошетом, человечества, высших целей, бытия всякий возвращается к себе: даже когда человек делает из себя орудие высших сил, это не более, как психическое приспособление для урегулирования, усовершенствования *его* жизни, даже самопожертвование и самоубийство — акты эгоистические, в более широком смысле этого слова.

Но не это важно. Важно то, что в человеке, или, по меньшей мере, во многих людях, благодаря чисто биологическим причинам заложена жажда жизни, жажда *роста, развития*. Такому человеку нужно строить дальше и выше себя, рамки индивидуальности ему тесны, и он приобщает себя к высшей единице: роду, племени, нации, наконец, человечеству.

Конечно, на человечестве не останавливаются, переходят и эту границу, говорят о космосе. Но тут всякое содержание либо испаряется, либо становится фальшивым.

Придерживаясь эмпирических данных, мы можем сказать лишь одно: космос — это арена столкновения различных тенденций, частью бессознательных, частью сознательных, космос такая же борьба, как и общество, и как в том, так и в другом случае правильнее всего быть союзником или членом наиболее прогрессивной из данных в опыте тенденций: поэтому можно сказать, что космическая религия (позитивистская) совпадает с религией человечества; совершенствование вида, внутренняя согласованность всечеловеческого общества и его главенство в окружающем мире — остаются главными, краеугольными камнями «Пан-идеала»⁴⁶. Итак, содержание тут остается то же. Расширение религии человечества до пределов религии космической не вносит нового содержания.

Если же за космосом стараются видеть начало сверхчеловеческое, но человекоподобное, то содержание фальсифицируется. Преследуются те же человеческие цели, но уже не как свободные, чисто человеческие, а как предписанные, предначертанные.

Итак, человек активный, полный жизни, живет, хочет и может жить целями человечества, потому что его жизнь, благодаря этому, приобретает громадный размах. Примириться на цели меньшей, чем торжество человечества над стихиями, такой человек не захочет, выходить же за рамки человеческих целей, как мы старались доказать, для него бессмысленно.

Если бы он верил в неизбежную осуществимость своего идеала, он был бы слепо верующим, но ему этого и не надо: он вме-

сте со всем прогрессивным человечеством ставит себе цель и старается осуществить ее по мере своих сил в своей индивидуальной области.

Все, что говорит г. Булгаков о Гюйо и Фихте, лишний раз показывает, какая пропасть существует между нами, двумя типами людей: девиз — «*pas être lâche*»⁴⁷ кажется г. Булгакову «печальным рефреном». А напыщенные фразы Фихте вызывают в нем восторг, хотя в них сказывается лишь желание скрыть от себя, *заговорить* смерть красными словами, потому что ведь ничто в мире не доказывает мне, чтобы «моя воля витала даже над развалинами вселенной». Я слишком хорошо знаю, как гибнет бедняжка даже от действия микроскопических микробов, поселившихся в крови и вызвавших падение органической жизни. Если бы, говоря свои фразы, Фихте поскользнулся бы и разбил бы не вселенную, — нет, а только голову, да и то не много, то его «воля» не могла бы даже поднять на ноги его тело. Не видеть, что психическая жизнь безусловно связана с жизнью маленького тела, микроскопической части вселенной, можно лишь, зарывая со страху голову в песок аравийской пустыни, бесплодного разглагольствования.

Нет, поднять ее, эту голову, глянуть в лицо хотя бы и смерти — «*pas être lâche*»! Для кого эти условия невыполнимы, те — прочь из рядов позитивистов, того — в лазарет, к идеалистам!

А наш мистагог между тем, навязав позитивизму веру в какую-то «абсолютность человечества», которая как раз так же возможна, как «абсолютность вида» или какого бы то ни было понятия, составляющего часть понятия «бытия», — заканчивает свою главу о религии человечества так:

«Таким образом, позитивизм, стремящийся только к положительному знанию и потому принципиально отрицавший и метафизику, и религиозную веру, кончает суеверием. Вера в человечество, — эта святая и заветная вера, — унижается позитивной философией на степень простого каприза и суеверия».

Чего, чего тут нет, в этом опровержении, глаза разбегаются, не знаешь, с какого края начать!

Прежде всего социальный эвдемонизм «усчитывает баланс мировой радости и горя и хочет, чтобы радости было все больше, а горя все меньше».

Но где взять единицу для измерения? Сумма всех радостей и сумма всех горестей — ведь это лишь «теоретический итог», каждая воспринимается отдельно (это «меткое» повторение в тысячу первый раз банального возражения принадлежит, со-

гласно г. Булгакову, архимистагогу, покойному Владимиру Соловьеву).

Словом, «погоня за всеобщим счастьем есть невозможное предприятие, ибо цель эта совершенно неуловима и неопределенна». Каждая болезнь воспринимается отдельно, и статистика заболеваний в данной местности есть теоретический итог. О, неразумный врач, стремящийся к понижению этой цифры, ты стремишься к цели «неуловимой».

Но, г. Булгаков, сделайте еще 1000 метких повторений, а человечество все будет бороться со смертностью, нищетой, невежеством! Г-н Булгаков, вашу блестящую лекцию о Карамазове вы звонко закончили словами: «Пусть болит наша совесть, пока мы не властны научить дитя, накормить его... пока не обнимаются, не целуются, не поют песни радостные».

Но зачем же нам стремиться к этим неуловимым целям? Чтобы «дитя» получило «новые источники страданий»? Или то была звонкая фраза, трубная фанфара для финала философской увертюры? Или эти фразы «законны» лишь в устах «благочестивого» оратора?

Полноте, предоставьте фразы о невозможности борьбы за счастье врагам прогресса, которые хотят уверить, будто нет возможности улучшить положение страдающего «дитяти» и его страдающих родителей! А на наш взгляд, стыдно отвечать на разумные планы облегчить страдания людские, распространить радость жизни глупыми, да, *глупыми* софизмами о каких-то балансах!

Каждый фабричный закон мог бы быть отменен на основании такого высокоумного соображения, он-де не сделает людей счастливее, но даже промышленники не хватаются за это ветхое, гнилое оружие. Большая часть страданий — результат социальной болезни, которую лечить можно и нужно. Дико слушать разглагольствования о «балансе» в таком недвусмысленном вопросе.

Но г. Булгаков такой «оригинальный» мыслитель, что, повторив абстрактное и глубокомысленное «опровержение» реакционных идеологов, идет еще дальше.

Социальный эвдемонизм не только бессмыслен, но безнравственен.

«Социальный эвдемонизм, в сущности, тот же эпикуреизм, осуждается развитым нравственным сознанием и благодаря низменности его основного принципа. Счастье есть естественное стремление человека (хотя оно и не зависит от его воли), но нравственным является лишь то счастье, которое есть попут-

ный и непреднамеренный результат нравственной деятельности, служения добру. Если же поставить знак равенства между добром и удовольствием, то нет того падения и чудовищного порока, которое бы не освящалось этим принципом. Идеалом с этой точки зрения могло бы явиться обращение человечества в животное состояние, как сопровождающееся минимальным количеством страданий».

О, ужас ужасов!

Хорошо бы все-таки г. Булгакову поучиться у какого-нибудь ловкого пресидижитатора, ну хоть у Джемса. Допустим, что мы поставили знак равенства между добром и удовольствием. Какой вывод сделаем мы отсюда: получить как можно больше удовольствий? Да притом, очевидно, самых лучших удовольствий, так как они, как известно, не равноценны в чьих угодно глазах. Но г. Булгаков сразу подменяет принцип жажды *maximum*'а удовольствий жаждой *minimum*'а страданий. Pardon, мы страданий не боимся, мы хотим, хотя бы ценой страданий, добиваться роста сил, развития жизни, которое, на наш взгляд, и есть высшее удовольствие.

Г-н Булгаков, несомненно, признает иерархию в царстве ценностей: бывает маленькое добро и большое; дела маленькое добро всю жизнь, можно оказаться самым жалким человеком, как и стремясь к маленькому удовольствию; из того, что мы провели знак равенства между удовольствием и добром, отнюдь не следует, чтобы мы объявили равными все удовольствия. Удовольствие, которое препятствует другим, более сложным удовольствиям, уже зло, как и маленькое добро, когда оно становится поперек дороги большому добру*.

Страхи г. Булгакова, как видит читатель, весьма неосновательны. Далее, г. Булгаков поучает о пользе розги... то бишь, страдания. И к чему бы? Уж не для того ли, чтобы позитивисты не переусердствовали и не уничтожили бы с корнем источники страданий?

«Стремление облегчить или устранить страдание других людей составляет одну из основных форм нравственной жизни и деятельной любви, а сострадание — одну из основных добродетелей (Шопенгауэр хотел видеть в нем даже единственную). Поэтому может показаться, что устранение страданий как тако-

* Стремящийся к добру стремится, конечно, избегать зла, как ищущий удовольствия избегает страданий; что сказал бы г. Булгаков, если бы мы сделали его вывод, т. е. что жажда избегать зла может привести, наприм<ер>, к состоянию спящего и сосущего лапу медведя, ибо «кто спит, тот не грешит».

вых и есть руководящая цель всей нравственной деятельности. Но неверность этого суждения станет ясна для нас, как только мы обратим внимание на то, что не всякое страдание заслуживает нашего сочувствия, — не то, которое имеет корнем безнравственные стремления данного лица, и не то, которое не каляет, а нравственно возвышает человека. Мы не захотим облегчать страдания ростовщика, который лишился возможности брать ростовщический процент, и сочтем безумным желание облегчить страдания Фауста так, как Мефистофель, который увез его от них на Вальпургиеву ночь⁴⁸. Напротив, мы обязаны стремиться к облегчению бедствий народных, к борьбе с нищетой, болезнями, порабощением, — со всем, что стоит на пути к духовному развитию народа. Отсюда выясняется, что страдание само стоит под контролем высшего нравственного начала, и то, что является добром в нравственном смысле, должно цениться нами выше страданий как наших, так и чужих. Борьба с человеческим страданием теряет характер основной нравственной цели, а получает значение подчиненной».

Итак, оказывается, существуют страдания, которым мы не должны сочувствовать, и такие, которые мы не должны облегчать.

Страдания ростовщика мы действительно не желаем облегчать; но видоизменить социальный строй, воспитать новые поколения так, чтобы тип человека, который страдает, когда ему не позволяют эксплуатировать ближнего, совершенно исчез, — это необходимо. Страдания Фауста, пожалуй, не надо облегчать; но стараться устранить возможность губящего свои жертвы дон-жуанства путем облагораживающего воспитания одних и возвышения прочности существования и чувства собственного достоинства других — необходимо.

Эх, г. Булгаков!

Страдание — всегда зло, но иногда является путем к добру. Единственным ли, однако? Докажите это... ну, хоть одним примером. Мы скажем г. Булгакову, что скверная дорога — отвратительная вещь, и он продекламирует: «Эти люди решительно не понимают значения скверных дорог, между тем как человеку, сбившемуся с пути, и скверная дорога весьма полезной бывает». Прямо Козьма Прутков!

Далее, г. Булгаков по поводу прекрасной формулы прогресса как роста потребностей и вместе и силы к их удовлетворению поучает:

«Рафинирование чувственности, не возбуждающее, а подавляющее деятельность духа, является своеобразной нравствен-

ной болезнью, нравственным убожеством, проистекающим уже от богатства, а не от бедности. Эту двусторонность экономического прогресса иногда забывают экономисты, когда, увлекаясь своей специальной точкой зрения, отождествляют ее с общечеловеческой и общекультурной».

Это не требует комментариев. Ясно, что дело тут совсем не в разделении нравственности и чувственности, а в извращении самой чувственности, пресекающем дальнейший прогресс. Финал главы об эвдемонизме, посвященный теории «унавоживания для будущей гармонии», не заслуживает рассмотрения. Радостно закладывать фундамент великого здания, предоставляя детям и внукам строить этаж за этажом, — значит жить и творить, а не быть навозом. Только пассивная натура не знает середины между «целью в себе» — бесплодным махровым цветком — и навозом.

Г-н Булгаков говорит:

«Строить свое счастье на несчастьи других, во всяком случае, безнравственно, и воззрение, оправдывающее такой образ действий, хотя бы и касательно будущего поколения, тоже безнравственно».

Он не понимает, что на войне всякий строит победу на взаимопомощи: бойцы, стоящие рядом, и шеренги, стоящие друг за другом — на взаимопомощи, а не на несчастьи, — а если тому или другому отряду выпала на долю жаркая сеча, то чем же безнравственны те, кто пожнет плоды мужества и боевой мощи этого отряда.

Мистагог наш, несмотря на жалкую слабость своей аргументации, пренаивно считает, что окончательно втоптал в грязь эвдемонизм, и начинает следующую главу такими словами:

«Справедливость требует признать, что хотя некоторую окраску эвдемонизма имеют все версии теории прогресса, но ни в одной из них он не проводится последовательно в качестве исчерпывающего принципа.

Нет спора, что идеал всеобщего личного и общественного усовершенствования является гораздо возвышеннее предыдущего, но попытка его обоснования, с точки зрения позитивизма, ведет к еще большим трудностям. Для того, чтобы говорить об усовершенствовании как о приближении или стремлении к некоторому идеалу совершенства, нужно наперед иметь этот идеал. И это вдвойне верно, потому что это усовершенствование мыслится как бесконечное; следовательно, ни одна из данных ступеней развития этим совершенством не обладает, поэтому понятие совершенства не может быть получено индуктивно, из

опыта. Этот идеал, таким образом, с одной стороны, не вмещается в рамки относительного опыта, — другими словами, он абсолютен; с другой стороны, этот абсолютный идеал, развитие и осуществление которого не вмещается в опыт, очевидно, может быть только внеопытного или сверхопытного происхождения. Истоптанная тропинка опыта и здесь с необходимостью приводит нас к трудному и скалистому пути умозрения. Позитивизм еще раз делает сверхсметное позаимствование у метафизики, что опять доказывает невозможность разрешения самых основных вопросов жизни и духа в границах опытного знания».

Г-н Булгаков не понимает, что *совершенствование*, т. е. развитие потребностей и сил человечества и есть условие счастья, что оно-то и сопровождается, как учит физиология, наиболее интенсивным чувством наслаждения, делая в то же время это счастье более прочным, — не понимает, что, с другой стороны, счастье есть лишь понятие формальное, означающее некоторое душевное состояние, которое может сопровождать у разных людей и в разное время совершенно различные процессы, но что, согласно позитивной практической философии, наивысшая формула счастья есть счастье развития, а худшая форма несчастья — чувство унижения, падения. Вот почему г. Булгаков и видит противоречие между эвдемонизмом и совершенствованием, как делают это все, в сознании которых между достоинством и счастьем человека еще лежит пропасть, которые могут руководиться требованиями достоинства лишь когда кто-то или что-то повелевает им это.

Разглагольствования о метафизическом характере идеи совершенствования и долженствования проистекают именно из этой психической разорванности. Совершенствование есть форма биологического (и социального) приспособления, естественное дополнение самой жизни*.

Г-н Булгаков повторяет Штаммлера, которого сам же опровергает.

Вопреки мнению г. Булгакова, детерминизм не подумает «почтительно посторониться перед нравственным хотением», так как он не принадлежит к числу «благочестивых» понятий. Но он, конечно, совершенно не противоречит эмпирической

* Для того, чтобы чувствовать, что я расширяю свое познание, усиливаю мои способности, гармонирую мои желания, вовсе не необходимо иметь метафизический идеал всесовершенства: внутренний рост чувствуется непосредственно. Напротив, божеское совершенство явилось лишь как абстрактная превосходная степень эмпирического совершенства.

«свободе воли», а, напротив, является ее необходимым условием, как это прекрасно разъяснено было много раз (например: Миллем, Геффдингом и др.).

Г-н Булгаков заканчивает критическую часть своей статьи такими словами:

«Таким образом, мы пересмотрели все основные проблемы теории прогресса и пришли к тому общему выводу, что все эти проблемы превышают силы позитивной науки или совсем не разрешаются ею, или ведут к внутренним неустранимым противоречиям, или же разрешаются с помощью контрабанды, т. е. внесением под флагом позитивной науки элементов, ей чуждых».

Мы тоже скажем, что пересмотрели все аргументы г. Булгакова и нашли, что нам никогда не приходилось читать более легковесного и претенциозного сочинения. И все время стоял перед нами вопрос: что это? — бессознательная ли ложь, — порождение клерикального настроения, или действительно глубокое... незнакомство с позитивной наукой, философией и позитивным настроением.

Нам следовало бы еще прибавить третью главу о том, как «г. Булгаков излагает свое положительное учение», и рассмотреть там главы VII, VIII и Postscriptum г-на Булгакова, но надеюсь, что ни читателю, ни г-ну Булгакову не будет «досадно», если мы оставим финал статьи без разбора. Критический набег Джемсона—Булгакова на позитивизм есть один из худших и наиболее неуклюжих образчиков идеалистической развязности, а положительные построения г. Булгакова вряд ли кого-нибудь смутят.

Ухищрения г. Булгакова напомнили нам одну сцену из «Каина» Байрона⁴⁹:

*«Каин. Почто несчастно все живое?
О, верно Тот, Кто создал нас, страдает,
Создавши скорбь! Творить уничтоженья
Ужель могло быть радостным трудом?
Меж тем, Он всемогущ, твердит отец мой.
Откуда ж зло, коль добр Он? — я спросил
О сем отца; он отвечал, что зло
Лишь путь к добру. О, странное добро,
Когда должно от смертного врага
Оно рождаться! Видел я ягненка,
Змею уязвленного: бедняжка
Валялся в корчах; мать его бляела
Беспомощно и жалобно над ним.
Отец достал целебных трав и к ране*

Их приложил; и жалкое создание
 Вернулось понемногу к жизни, стало
 Вновь мать сосать, — а та, дрожа от счастья,
 Лизала оживающие члены.
 «— Взирай, мой сын! — сказал Адам, — как зло
 Ведет к добру».

Люцифер. Что ж отвечал ты?

Каин. Я
 Молчал, затем, что он отец мне, — втайне
 Помыслив, что ягненку лучше б было
 Не уязвленным вовсе быть и жизнь
 Несчастную свою не искупать
 Ценою тяжких мук, хоть побежденных
 Противоядием».

(Перевод кн. Еликониды Кудашевой)

На этом мы и закончим.

Позитивисту вообще легко справляться с критическими по-
 тугами «благочестивых», но и среди них г. Булгаков занимает
 по логической силе одно из последних мест, зато он много вы-
 игрывает в глазах *своей* аудитории той своеобразной истериче-
 ской искренностью, которою проникнуты статьи его сборника.
 Человек выворачивает перед вами всю душу, плачет, ужасает-
 ся, молится и ликует. Его статьи — целый спектакль, и это не
 может не привлекать специфическую публику, какой немало
 накопилось среди российской интеллигенции.

Наше личное впечатление таково: риторические упражнения
 г. Булгакова, с точки зрения логической, наивное «лукавство»,
 быть может, искренне принимающее себя за победоносную диа-
 лектику; с точки же зрения эстетической, этот надрыв, эта *слеза*
 в слоге г. Булгакова, это tremolo⁵⁰ возбуждает в нас некоторую
 гадливость. Какой-то теплый клейстер, какое-то католически-
 клерикальное актерство, больной подъем, где нервический экс-
 таз *неразрывно* сочетается с деланностью и кокетством.

Мы будем рады, если нам не придется больше заниматься ни
 медоточивым и слезоточивым г. Булгаковым, ни бьющим в
 тимпаны вертящимся дервишем г. Бердяевым.

